

Ангел Ангелина
повесть

...И наступил момент, когда Макс Михель почувствовал себя самым неудачливым человеком лета одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года.

Самым несчастным. А разве ж мыслимо кому выдержать столько крушений за какой-то месяц? Ведь уже отданы были школе последние приветы, и первоклашка, сидя на его плече, отзвонила в чуть слышный колокольчик. И было по полной отплясано с ребятами на выпускном под «Самоцветы» и «Ариэль», а после, до самого рассвета, в белых рубашках и белых платицах, рассыпаясь на пары и вновь собираясь в стайки, пройдено и пропето под гитары около моря. И поцелуи, долгие поцелуи под первые клики розовых чашек...

Потом, растерянно посуетившись от распахнувшейся ответственности, все одноклассники почти разом разъехались кто куда, почти наугад развозя аттестаты и комсомольские характеристики в институты и университеты больших городов. А ему, собственно, и выбирать-то было нечего: со второго класса — вечная стенгазета, с третьего — изостудия, то есть всеми безоговорочно признаваемый талант художника требовал профессионального развития. Но далее... Вот как раз далее он — после того, как уже сдал рисунок и композицию на худграфе одесского педагогического! — оказался на операционном столе. С позорным аппендицитом. Ну, может, не с самым позорным, так как последовало осложнение, и вместо трех-пяти дней проваляться в больнице пришлось две недели, а после чего брат и мама осторожно вернули его в Ильичевск. И покатилося.

Дело даже не в том, что он не поступил в конкретно этом году, а получалось, что не поступал вовсе, так как весной загребался в армию. И пусть бы так, опять же, армии Макс не боялся, но на этом «чёрная полоса» не заканчивалась: из-за операции он не попадал на августовские сборы и, естественно, не участвовал в «республике». А этот турнир требовался просто как воздух: не хватало трех зачетных побед для норматива «мастера». В его первом среднем. Боксерском. А, не получив «мастера», он не попадал служить в СКА... И даже грузчиком в порт не пойдёшь — швы свежие.

В общем, не глотайте семечки вместе с шелухой.

Братишка со своими, с мая уже загоревшими, оболтусами-восьмиклассниками ловил бычков с баржи и избегал домашних поручений, а мать, в очередных квартальных отчетах окончательно перешедшая на эпистолярный жанр воспитания, только указывала где и что подогреть. Посему Макс, для приличия кроме бутербродов и огурцов прихватывая этюдник, каждый раз дотемна отсиживался в одиночестве, забираясь куда-нибудь повыше, чтобы оттуда из-под белой панамы гордо обижаться на всех и вся. Даже Соня Леденцова где-то в Москве. Конечно же, не нарадуется жизни в своем, ах-ах, МГУ. Тоже мне, журналистка... День, два, пять, десять, двенадцать... И на тринадцатый он взвыл. Да кому все эти акварели?! Видно же, что мазня: прибой тяжелый и проваливается за песок, зелень грязная, рисунок вялый — ну, естественно, настроение вылезает. Кому оно всё нужно?.. И кому нужен он сам? И не только сейчас, но и ранее: мать — бух, а затем и начэкономотдела горводоканала, детей видела утром, вечером и по воскресеньям. Отец, пока был жив, вообще по восемь-девять месяцев добывал где-то свои тонны морепродукции, а когда возвращался, то два месяца пил так, что и... лучше бы плавал круглый год. Только когда до очередной медицинской комиссии оставалась пара недель, он трезвел, ходил в парную и воспитывал сыновей. Очень поучительными байками. И подзатыльники. Младший брат, Димка... Салага, но уже баклан, оторви и брось. Пофигист

от пеленок, кажется, за пределами школьной программы прочитал две или три книжонки про шпионов. И ни один кружок тоже больше двух-трех раз не посетил. Вон, прибраться за собой не заставишь. Но всё равно при этом мамкин любимчик, чуть что, сразу ябедничать... Спортзал пуст — все в лагере... И что Макс тут делает? И что будет делать? Чесать свежие рубчики.

Потолок с толсто забеленной лепной розеткой вокруг свисшего на длинном витом проводе абажура матового стекла, желто-горчичная полосатая штора, перекрывающая половину жаркого полуденного окна, аккуратно приколотые иголками к блекло-зеленым обоям грамоты и дипломы. А две серебряные медали покрылись пылью. Впрочем, пыль видна и на рамках с морскими пейзажами, и на чучеле альбатроса. Пыль, пыль. И уже который день он не может поднять упавшие за стол новенькие, подаренные на окончание школы тренером Сергей Сергеевичем красно-белые перчатки. Просто нет сил...

Уехать бы. Уехать. Куда-нибудь далеко-далеко. В тайгу... Или в Ленинград... Так вот и подступил тот момент, когда Макс почувствовал себя самым неудачливым человеком...

Мать пришла неожиданно рано. И прямо с порога огорошила:

— Макс, собирайся! Звонил в контору Костя, ну, мой двоюродный брат, твой дядя Константин Павлович. Завтра пришлёт деньги, и ты полетишь в Москву, а оттуда в Кишинёв. Он берёт тебя на лето на работу. Знаешь же, что он реставратор, церкви ремонтирует. Сказал: ничего страшного, и после операции можно.

— А чего через Москву-то? То есть, я, конечно, за, но тут напрямую в пять раз ближе.

— Пусть хоть в десять! Там, в Москве, какие-то документы возьмёшь, чертежи для его работы. Ну, и в столице побываешь. Разве ж плохо?

Не то чтобы неплохо, а и вовсе замечательно. Небо за окном неожиданно просинело, солнце разом ужалось в нежно поигрывающее за тюлем пятнышко, даже от неблизкого моря свежий ветерок донес запах ржавчины, мазута и крики чаек — самые что ни на есть заглавные призывы к путешествию. Собираться недолго спорт научил: трусы, майки, зубную щетку и полотенце. Но, может, что нужно особенное, эдакое, для реставрации? Может, ну... церковь всё-таки.

— Мам, а я крещёный? Вдруг туда без крестика не пускают?

Мать, на секунду задумавшись, махнула рукой:

— Ну вот, так и знала! Сколько ж талдычила твоему отцу — давай окрестим детей! А он, штумпф упёртый, только ругался. Вырастут, мол, лютеранами будут. Ага, так прямо я и отдала ихней немчуре своих русских мальчиков! Да и ничего-ничего: авось, небось, да как-нибудь! Если что, там и покрестишься.

Москву он, в общем-то, так и не увидел. Четыре нервозных часа в аэропорту Домодедово, подскочивший почти перед самой посадкой какой-то взъерошенный толстяк с огромной самодельной папкой: «...Смотри не помни». И, вообще, всё там предельно бестолковое и суетливое. Только мороженое понравилось, хотя почему-то «ленинградское». Но вот, наконец, «Ту-104», накренившись к пронзительной в темноте малиновой щёлке заката, пошел на снижение. За толстенным стеклом иллюминатора небо из сплошных сине-фиолетовых облаков, внизу такая же непроглядная земля, и только между ними узенькая полоска холодно-красного цвета. Или света. Пристегнув ремни, все, кто находился по левому борту, напряженно смотрели на близко проплывающие огоньки вечернего Кишинева. Паутина синюшных уличных фонарей, жёлтые соты многоэтажных новостроек, красные чёточки партийных призывов. Самолет выровнялся, уши заложило, и вот под брюхом загремела, заколотилась посадочная бетонная дорожка.

По-современному кубовое, приземисто-широкое и совершенно новенькое — «выстроено к прошлогоднему приезду Брежнева», уютное в своей почти девственной

чистоте двухэтажное здание аэропорта через полчаса опустело. Попутчики растаяли как-то незаметно и непонятно на чём. Макс побродил по фойе, вышел на площадь. Ночь тёплая, липко влажная, без малейшего ветерка. Это вам не побережье. В уши ударил звон бесчисленных цикад. «Если не встретят, то бери такси. Только больше пяти рублей не давай, там и так два пятьдесят всего настукивает». В углу, под крайним, густо облепленным ночными бабочками фонарём, стояло около десятка разноцветных машин, но только пара такси. Шофера плотно сошлись у одной из легковушек и о чём-то захлеб спорили. Нерешительно приблизившись и потоптавшись, Макс наконец-то вызвал у них некоторый встречный интерес: «Куда?» — «Кровохлёб». Интерес пропал. Даже «сколько он даст» не спрашивали. Водилы демонстративно свернулись в кружок и опять начали страстно обсуждать преимущества «тройки» перед «шестёркой». Но, конечно же, в этом повышенном шуме прозрачно тянулась фальшь: «клиента» обрабатывали, давали «дозреть». Макс постоял, постоял и робко отвлёк самого пожилого:

— Может, довезёте?

— Куда?

— Я же говорил: Кровохлёб.

— Нет, не по пути.

— Так вы же таксист.

— Я по заказу. Вон, частников проси. Может, возьмутся.

Макс, согласно направляющему кивку, подошел к молодому невысокому весельчаку, бурно оспаривавшему общее мнение о неэкономичности слишком мощного двигателя «шестёрки».

— Вы не подвезёте?

— Шо, так трэба?

— Сами видите. Ночь скоро.

— Таки ж червонец.

Стоявшие рядом шофера заулыбались. Эти наглые ухмылки и переполнили терпение. Все, предел пройден, Макс и так уже умаялся за этот бесконечно длинный день со всеми его проверками, накопителями, ремнями, взлётами, посадками, — хватит над ним издеваться. Да! Его мать одна на сто сорок плюс двадцать премиальных тянула двух сыновей, он сам с восьмого класса уже подрабатывал, и брат покорно донашивал то, что перед этим было максово, а тому, в свою очередь, многое перепало из оставшегося от отца. И что такое «червонец», не ему рассказывать!

— Поехали!

Не ожидавшие такого быстрого согласия шофера опешили. И смотрели теперь на урвавшего с нескрываемым неодобрением. А тот вдруг чего-то занервничал, засуетился, никак не попадая ключом в замок багажника. Огромную папку аккуратно положили поверх запаски и инструментов, а рюкзак Макс бросил на заднее сиденье. Всё, тронулись.

— А чо, братка, там, в Кровохлёбе? Отдыхать к родственникам?

— Нет. На работу.

— Какая ж там работа? Мэй! Село. И шлях класть уже кончили.

— Нет, я в церковь.

— В бисерику? Мэй! — Шофер ему даже в лицо заглянул. Чего это он? И ещё вдруг стал извиняться: — Тэк почему, братка, цену-то гнём? Через гаишный КПП проезд, а там оне с нас, частников, ночью по рублю гребут. Туда — рубль, оттуда. А днем-то до Кровохлёба трёшник.

Удивительно ровный асфальт шоссе легко гнулся с холма на холм, мелькая под фары белым пунктиром разделения полос. Увеличенные светом редкие ночные бабочки астероидами летели навстречу, а вокруг пасмурная ночь прятала окрестности в совершенную непроглядность. Только черный контур невысоких, пологих гор да неожиданные, на поворотах, высоченные шпили пирамидальных тополей ограничивали и

подрезали низкое густо-синее рябое небо, чуть подсвеченное справа едва угадываемой за облаками луной. Холмы, горки. Днём наверняка здесь красиво. Живописно, наверное.

— Мэй, когда Господь Бог разделял народы, он давал каждому по уделу. А молдаван проспал очередь и прибежал последним. И ничего ему не осталось. Заплакал молдаван, запричитал, и пожалел его Господь, говорит: «Есть у Меня один маленький кусочек, мэй, для Себя оставил, но тебе отдам. Вовек горя не узнаешь». И отдал Бессарабию. Стали здесь жить молдаване, хорошо жить, всего вдоволь — вина, пыни, мамалыги. Очень хорошо. И Господь Бог смотрел на них и тоже радовался. Но позавидовал тому сатана. Пришёл на небо и говорит: «Мэй! Слишком смачно у молдаван, так не должно быть. Несправедливо перед другими народами. Пусть и у них горе будет». Господь согласился и послал на Бессарабию нашествие змеев. Огромных драконов, которые пожирали с земли весь урожай. Тогда опять заплакали, запричитали молдаване: «Обещал же, что горя не узнаем». И опять Господь Бог пожалел их. И родились у них богатыри. Большие люди. И стали они убивать драконов. Тогда сатана снова побежал на небо: «Нехорошо отступать от своего решения!» Господь посмотрел на сатану, посмотрел на молдаван, взял да и усыпил и драконов, и богатырей. Вот кто где заснул, там и поднялась гора. Видишь, братка, сколько их вокруг спит. Поди разберись: кто где.

Вознесённый стакан КПП издалека светился праздничным китайским фонариком. Сбросив скорость, подкатили к разъезду, покорно остановились под светофором. К ним лениво подошёл, весь увешанный белыми светоотражающими портупелями, дежурный. Красиво подошёл, с форсом.

Сержант козырнул и заглянул в салон:

— Куда?

— В Кровохлёб, в бисерику.

Гаишника словно собака за нос чуть не цапнула, так он отпрыгнул от машины. Только палочкой отмахнул.

— Надо ж! И денег не стиганул. Мэй, ненормальный, видно.

За очередным подъёмом слева засветились редкие россыпи завидно уютных огоньков. А село-то не маленькое! Свернув с трассы, машина поползла по крутому серпантину узко и круто завивающейся вверх улицы. Глухие высокие заборы, заросшие пышной зеленью черепичные крыши, через каждые десять метров фосфорирующие знаки с предупреждениями о резких поворотах. Асфальт незаметно перешел в потряхивающую булыжную мостовую. Выше, выше. Изредка улица пересекалась с другими, такими же узкими и пустыми. Кое-где горели редкие фонари во дворах около крылец, но в самих домах, похоже, все уже давно спали. А где же здесь у них церковь? Стрелки часов показывали первый час. Кого в такое время в деревне спросишь? Неожиданно сбоку за фарами мелькнула тень. Водила тормознул, сдал назад и опустил стекло:

— Мэй! Бабуля, а где у вас бисерика?

Перед ним, опершись на палку, стояла худюшая ссутуленная старуха. Во всем чёрном, она совершенно вписывалась в окружающую обстановку: чёрный высоченный забор с тяжело свесившимися из-за заостренных плотных досок чёрными ветками яблони с одной стороны, чёрный забор с грушей с другой, а посередине кривая брусчатая мостовая, уходящая в ту же беспросветную чёрноту поворота. Согнутая черная тень чуть-чуть шевельнулась.

— Так где, мать, церковь?

Старуха ещё сильнее сгорбилась, приложив руку ко лбу, вплотную через плечо водилы вглядывалась в Макса.

— Бисерика? Да — там. Только зря ты его туда везёшь.

Шофёр недоуменно оглянулся на пассажира: чего это ему? Никак, знакомая?

— А где «там»? Прямо, что ли?

Но только переспрашивать было уже не у кого. Водила даже в окно высунулся, посмотрел назад, по сторонам. Но темнота такая, что старухи нигде не видно. Как смыло. А может, она куда в калитку вошла?

И тут ему в кудри вцепилась летучая мышь. Шофёр вскрикнул, попытался смахнуть ее, но шевелящееся животное, путаясь в волосах, злобно пищало и никак не хотело отцепляться. Выдрав хрустнувшую косточками мерзость и отбросив раздавленное тельце, водила едва успел закрутить рукоять подъёмника, как в стекло ударились уже два крохотных чудовища. Затем ещё два сухо стукнулись в лобовик. И ещё, ещё. Хрупкие тельца не выдерживали ударов, и мыши тут же мучительно погибали. Сползая, судорожно разевали огромные рты, из последних сил царапая по стёклам коготочками перепончатых крыльев. Удары в окна следовали со всех сторон. Да сколько их тут?! Свадьба, что ли? Или миграция? Оцепенение, вдавившее их в спинки кресел, сменилось желанием бурной деятельности.

Резко газанув, выскочили за поворот и увидели впереди, почти на вершине горы, в подсветке уличных фонарей бело-розовую, с остроконечным шатром, колокольню.

— Ну, слава Господу Богу! — Шофёра ещё подёргивало. — Мэй, ты, это, братка, давай тут сам. А я в город поеду.

Он мгновенно открыл багажник, выставил к воротам папку с документами, безрадостно сунул в нагрудный карман червонец и отжал изнутри все кнопки.

— Ну, удачи, мэй!

Визгливо развернувшись почти на одном месте, «шестёрка» вильнула габаритками, еще пару раз где-то там внизу ударила фарами по деревьям и окончательно пропала. Макс посмотрел на железные, под мощной оштукатуренной аркой, ворота, на два замыкающие створы одноэтажных здания, беззаконно слепо укрывавшие церковный двор от улицы, на нависающие над их черепичными крышами театрально подсвеченные снизу разлапистые, с плоскими вершинами, кроны старых акаций. Теплота по-южному густо-влажной ночи обняла всё его вдруг так уставшее тело, и в её мягкой расслабляющей тишине только «цы-цы-цыкали» неутомимые цикады, да ещё где-то далеко-далеко незло лаяла собака. От этой тёплой и мягкой тишины его стук в ворота прозвучал неожиданно по-бетховенски судьбоносно: «Та-та-та, да!»

А с той стороны словно только этого сигнала и ждали. Раздались весёлые голоса, слышались скорые шаги по скрипучей гальке, чьи-то руки наперебой дергали задвижки, и сразу три головы появились в приотворенную дверь:

— Макс?

— Я.

— «Я» — это в смысле «ja» или в смысле «ich»? — Так шутить мог только дядя Костя.

«Константин Павлович, он же тебе начальник будет», — строго наказывала на дорогу мама. А Макс-то помнил, как пять лет назад, проснувшись, они с братом увидели, что под их окном куст барбариса, словно ягодами, был весь увешан одноименными конфетами. Потом им показали сотворившего это «чудо» странного, явно немного сумасшедшего человека: высокий, худющий, как скелет, «дядя» имел длинные, наверное до пояса, спрятанные за воротник водолазки волосы и смешную, узкую и тоже длинную, как у козла, бороду. Только усы большие и красивые. Зачем ему такая прическа? Йогов у них в Ильичевске до того не было, а хиппаков и рок-певцов они видели только на импортных турецких и итальянских плакатах. Но те-то молодые.

Дядя Костя постоянно курил и говорил с ними невозможно фальшивым сюсюкающим голосом. И приколы все детсадовские. Ну, ладно там, брату Димке тогда только-только стукнуло девять, а Макс-то уже был большим, двенадцатилетним, и его всю неделю обижали глупые заигрывания приехавшего в гости то ли Хоттабыча, то ли Дон-

Кихота. В страшно засушенном виде. У дяди Кости не было своих детей, и он совершенно не умел подстроиться к возрасту племянников: то купил им совсем девчачьи соломенные шляпы, то какие-то почти белые шорты, в которых никуда не сядешь. Но старался, и с Димкой они, в конце концов, сошлись на игрушечном катере с батарейками — трудно ли маленького подкупить, а вот Макс у всё так и доставалось по самолюбию. Ну не понимал Константин Павлович, что надо бы повежливее, посерьёзнее, хотя наверняка же видел, что не пузан перед ним.

Калитка распахнулась во всю ширь. Еще две головы принадлежали мохнатобородавчатым, среднемолодым, среднего роста и среднего телосложения человеку и миниатюрной, коротко стриженной чёрной женщине в ярко блестящих очках. Хозяева, видимо, перед тем много смеялись, и теперь все продолжали то и дело прыскать по непонятным поводам. Обмен рукопожатиями.

— Владимир Васильевич.

— Максим.

— Маргарита Бахытовна.

— Макс.

За спиной тяжело и решительно лязгнул заслон, а дядя Костя, Константин Павлович, уже подталкивал его в спину в направлении ярко пылающих в глубине ограды окон невысокой веранды. Они шли через весь двор по чистой, просыпанной мелким гравием дорожке мимо напряженно молчаливого здания храма. А что в нём ремонтировать? Выглядит-то совершенно новеньким. Макс просто кожей почувствовал, как сильно лучатся его светло-розовые, с протянувшейся белой лепниной стены. Такое испытываешь рядом с большим военным кораблем: сильно, холодно, недоверчиво. А справа травянистая всхолмленная насыпь замыкалась высоким, тоже светло оштукатуренным забором.

— Как хорошо, как вовремя ты чертежи привёз. А то нам на завтра назначен архитектурный совет в министерстве, и вот теперь-то у нас руки развязаны. Пусть только попробуют отказать. — Константин Павлович прямо на ходу пытался раскрыть заклеенную по швам папку.

А веранда оказалась самодельной дощатой пристройкой к странному полуподвальному помещению, начинавшемуся вполне как какой-нибудь склад, а потом вдруг грубой сводчатой каменной кладкой уходившему вниз, в неведомую глубь горы. Внутри пристройка делилась на кухню и столовую. В небольшом помещении столовой каким-то уютным образом располагалось невероятное количество вещей: железная, непривычно квадратной конструкции трофейная румынская буржуйка, большущий, почти теннисный, стол, старинный, ещё пружинный, облезлый кожаный диван с откидными кругляками подушек, широкая деревянная лавка, табуреты, две тумбочки. Две смежные стены занимали сплошные окна, а другие две разрезали разнокалиберные полки с банками, баночками, коробками, коробочками, кистями, стамесками, красками, пилами, рубанками, картонками, книгами и иным профессионально необходимым мелким разнообразием. А ещё на табурете в межоконном углу стояла огромная, в человеческий рост, икона с румяным ангелом в голубом плаще, держащим белую лилию.

— Ты садись сюда и давай, с дороги, поешь, чаю попей. Аэрофлотовская-то курица, поди, давно растворилась в молодом желудке? Без следов? Не стесняйся, все свои.

Перед Максом выставили большущую красную пиалу с шапкой чуть тёплого желтоватого куриного плова, рядом на доске разложили порезанный чёрный хлеб и, ещё в свежих капельках длинненькие помидоры, приставили масло и сгущенку. Отлично! А на другой половине стола три головы тут же склонились над развёрнутыми полотнами расчерченных тушью огромных и сложных чертежей. Действительно, можно было не стесняться: Макса они и не видели. После естественно быстрого поглощения пищи, но в неестественных объемах, пить захотелось просто страшно. Задерживая дыхание и заведя сзади руки выше диафрагмы, он молча смотрел на что-то так восторженно обсуждающих

реставраторов и никак не мог решить, что же с ним произойдет в ближайшие минуты: или начнет икать, или заснёт? Первым про гостя вспомнила Маргарита Бахытовна:

— Господа, а парень-то у нас совсем грустит. Макс, вы чего-нибудь ещё хотите?

— Пить и спать, — он откровенно выдал правду, какова она есть. Макса дружно попили, а потом дядя Костя повёл его на «место».

— Мы тут немного ужаты, так как народ то приезжает, то уезжает, а постоянных нас трое. Поэтому и тебе место несколько временное предоставим, летнее. Ты же не куришь? Очень хорошо. А когда-нибудь на колокольне спал? Там, под звонницей, есть чудная комнатка. Светлая, с обзором на три стороны. Только добираться не просто, поэтому давай через туалет.

Дядя большущим ключом отомкнул замок и, оттянув высоченную, узорно окованную дверь храма, смело вошёл в темноту. Шагнувшего за ним Макса обдало холодом и непривычной гулкостью большого ночного помещения. Щёлкнула тусклая запыленная дежурка притвора, и в непрояснившейся мгле протяженного нефа мутно проявились орнаменты и фигуры. Но разглядеть толком Макс ничего не успел, так как по узкой крутой лестнице, начинавшейся прямо в стене, они стали ввинчиваться в высоту. Через сто две крутые каменные ступени, сквозь откинутый люк они попали в действительно чудесную квадратную комнату. Лестница, теперь прямая и железная, тянулась дальше, туда, где за вторым люком располагалась открытая площадка с подвешенными на скрещенных балках колоколами. Там упорно жили и мусорили голуби. А здесь от пылавшей под самым потолком «сотки» недавно выбеленные стены ослепительно сияли стерильной чистотой. Возле плотно строенных стрельчатых и сейчас зеркально-чёрных окошек по центру стоял старый, но тоже чистейший письменный стол. Справа — заправленная белым же покрывалом узкая железная кровать с никелированными шишечками, слева — глухой платяной шкаф. Что ещё? Два венских стула. И раскрытый пустой этюдник на выдвинутых ножках.

— Ты вещи закинь в шифоньер и в стол. И ложись. Подъём завтра по желанию или по возможности. Но учти: мы с раннего утра в столицу, там с совками в министерстве большой бой предстоит, так что за хозяев ты да Вахтер. Это собака такая. До обеда дотяните. Только, если что, воду для питья бери ту, которая в баке, а в колодце совсем солёная. Прости, завтра и про дом, и про дорогу расскажешь. Ты нас действительно очень выручил, спасибо огромное, вот как задавим местный минкульт, так и расслабимся, поболтаем. Прости, побегу — нам до утра бы кончить.

Дядя Костя улыбнулся своим узким, мелко морщинистым лицом и, как настоящий джинн, исчез в отверстии люка.

Выложив одежду и обувь из сумки, Макс с сомнением подержал в руках чудом на днях ухваченный в буке мягкий серый томик «Огненного столпа». Деньги-то откладывал на сборы, а вот сгодились на книжицу. Подержал, подержал и никак не смог убедить себя в необходимости «почитать». На сон грядущий? Так сон уже и сам нетерпеливо похлопывал по затылку. Едва только и успел, выключив свет, вытянуться во всю длину занемевшего от «аэрофлотовских» притеснений тела. Странно спать на колокольне. Одному в огромном и неведомом здании. Странно и сладко. И легко. В голове обрывки картинок: вот брат завистливо провожает, а это уже некрасивая стюардесса протягивает маленькую чашечку с щекотно лопающимися пузырьками, а потом гаишник козыряет... И старуха: «зря ты его туда везёшь»... Ещё что-то... И ещё кто-то ходит под ним по пустому храму. Наверно, дядя Костя или эта... как её... Маргарита Бахытовна... А он высоко-высоко... Под колоколами...

Утро давно было не утром, когда Макс с пусто звенящей головой, но замечательно отдохнувшим телом, гонимый природой, шаром скатился по каменной винтовой лестнице в притвор. Двери на крыльцо были чуть-чуть приоткрыты, и яркая солнечная полоса резала скопившуюся за ночь сиреневую прохладу. А там, за внутренней аркой, в самом храме

было давно светло: восемь больших окон по каждой стене и обильная позолота плотного иконостаса празднично звучали полуденным гимном в честь великолепного южного лета.

Макс так и замер на пороге: что это? как это? Длинный, по-католически бескупольный неф с мягко сведённым полукруглым потолком весь был — нет, не покрыт! — наполнен росписями. Стены под красками одновременно и были и не были, а потолок не имел ни веса, ни размера. Росписи Пискарёва невозможно пересказать. Это тайна достижения гармонии. Десятки сюжетов и отдельных портретов, заплетённых крупными сильными орнаментами, смысловые и композиционные узлы в тесных правилах бесстильной архитектуры эклектического рубежа веков... А вверху в центре — Он, Христос. Такой красоты и ума глаза, что... Макс так и замер на пороге с открытым ртом.

Внизу внутри какой-то старик, несмотря на июль, в тёплой стеганой безрукавке, с ведёрком обходил подоконники и поливал черпачком цветы. Макс тихонько выскользнул на крыльцо, слепо сощурившись, спустился на двор. Только когда подошел к дверям веранды, рассмотрел около входа сидящую сфинксом огромную рыжевато-пеструю дворнягу с огромными же висячими ушами и с ещё более огромным, сухо-кожаным чёрным носом.

— Вахтер?

Пес улыбнулся и вильнул негнувшимся хвостом. «И мне очень приятно». Да, а пса кормить или не кормить? И чем? Цзу-то не выдали. Тот опять махнул и улыбнулся. Войдя на кухню, Макс с облегчением увидел на узком разделочном столике спасительную записку, из коей и узнал, что яйца и помидоры в холодильнике, что их можно жарить, хлеб должен быть на полке, а электрочайник в столовой. И Вахтер уже накормлен.

Несмотря на открытые двери, собака внутрь не входила, а с крылечка только умно поддакивала стуку ножика по впитывающей помидорный сок доске, шипению яиц и поиску хлеба, которого ни на какой полке не оказалось. Хлеб лежал в столовой, рядом с чайником. После такого доброжелательного и ненавязчивого внимания Макс не смог не поделиться с вежливым соседом, и тот очень аккуратно взял из рук намазанный маслом кусок. Кожаный нос действительно оказался сухим и шершавым.

Когда яичница с помидорами закончилась, и наступило время чая, за затянутым от солнца плотным тюлем окном послышались приближающиеся шаркающие шаги. Это был тот самый утеплённый дед, что поливал цветочки. Теперь он нёс в глубокой тарелке ягодки. Клубнику. Вахтер нехотя посторонился, и в столовую осторожно, бочком вошёл невысокий, лысоватый, весь такой седовато-серенький, хитровато улыбающийся дедушка.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте и вам! Вот, откушайте. Свежая.

— Спасибо. Я племянник Константина Павловича. Максим.

— Мы знаем. Кушайте. Как отдохнули? С дороги-то выпались? Хорошо, очень хорошо. А они когда обещали вернуться? Понятно. Ну что ж, после обеда, так после обеда. Мы подождём, главное, чтоб у них все случилось, у них.

Старичок присел на лавочку у самого выхода, а тарелку с ягодой подвинул к Максиму. Он все как-то хитро улыбался, улыбался, и маленькие глазки под короткими мохнатыми бровками совсем прятались за морщинками век. Неужели ему не жарко в этой кацавейке? А дед вдруг перешел на доверительный шёпот:

— А не страшно было? Ночью-то?

— А что должно было быть страшного?

И опять многозначительная улыбочка.

— Да разное. Мало ли что? Вдруг и почудится.

— Нет... Вроде ничего. Спал просто замечательно.

— Ну, и хорошо, хорошо. Я — так, просто так. Ладно, пойду-ка пока в конторку, бумажки поперебираю. Пока они вернутся. А вы кушайте.

— Спасибо, очень вкусно.

Старик трудно приподнялся, так же бочком двинулся на выход. И уже почти с крыльца:

— Я — Тимофтий Романович, староста.

Макс, не оборачиваясь, прослушал, как удаляются шаги, и запустил в тарелку всю ладонь. Ой, надо было бы побольше оставить. Вот и Вахтер укоризненно потупился.

Широкий двор вокруг лёгшего поперек склона храма был засыпан аккуратно выметенным колотым гравием. С нижней, южной стороны росло несколько старых акаций и плотные кусты высоченной сирени. За их тёмными кронами открывалась широкая панорама на Кровохлёб. Сотни розоватых и густо-красных черепичных крыш в окружении тёмной зелени грушево-яблоневых садов плотно заполняли покатый склон. А справа, по северной стороне двора, к запёртому поверху штукатуренным забором холму лепились каменные хозяйские пристройки, на фоне которых высилось два здоровенных деревянных креста. Грубо написанные Иисусы закрывались пыльным стеклом, а вершины и перекладыны крестов, как крыши, покрывали жестяные угольники. Это что, могилы чьи-то?

Конечно же, Макс не терпелось как следует рассмотреть храмовые росписи. И вокруг походить, территорию оглядеть, освоить. Но без хозяев всё будет самовольством. Лучше пока что-нибудь здесь полистать, почитать. Вон, целая кипа журналов на полке. Есть там что про реставрацию? Или про церковь. А то на эти темы, оказывается, Макс до позавчерашнего дня даже и не задумывался. Опять дяди и тети будут с ним сюсюкать. Придется по-детски краснеть.

Теперь он сам радостно спешил на хлопанье автомобильных дверей за воротами. Даже Вахтера обогнал. А навстречу с улицы, с полными объятиями бумажных мешков и свертков, входил дядя Костя. За ним Владимир Васильевич и Маргарита Бахытовна за две ручки несли широкую, но мелкую корзину с белыми-белыми яйцами и желтоватыми тушками тех, от кого эти яйца получали. Да ещё в цепких пальцах Владимира Васильевича блестела фольгой бутылка шампанского. С Максом щедро поделились упаковками, а улыбающийся до подвизгивания Вахтер счастливо припадал носом к земле, разгоня воздух своим могучим хвостом. Он, оказывается, сильно хромал.

Стол ломился от привезённых городских и изъятых из запасников местных продуктов. На их компанию всей этой еды должно было хватить до утра. Это если не отвлекаться. А ведь ещё разговоры! Макс в двух словах описали смысл выигранного сражения: с сего дня статус объекта вырос из районного памятника архитектуры в памятник живописи республиканского значения. Теперь, кроме заплаточного ремонта крыши и косметических заделываний трещин и осыпей, церковная община получала право на полномасштабную реставрацию храма со снятием росписей с потолка, заменой прогнивших балочных перекрытий и восстановлением живописного слоя на новой основе. Пять лет — никаких грабежей в Фонд мира! Ура! Ура! Ура-а-а!!

Тимофтий Романович принимал поздравления. Оказывается, кроме того, что религиозная община платила десятикратную цену за свет, воду и землю, в конце каждого квартала она «добровольно» сдавала в этот самый Фонд мира всю наличную кассу. И при этом не имела права без разрешения райсовета даже покрасить окна. В этот же Фонд отдавал каждую свою третью зарплату и священник. И тоже, естественно, абсолютно «добровольно». А у данного храма крыша аж с тысяча девятисотого года, и, несмотря на качество шуваловского железа, в последние десять лет она протекала уже полводными ручьями, так что внутри стен прослушивались целые рукава пустот вымытой штукатурки. Поэтому внешнее укрепление живописного слоя толку не давало. Как прослушивались? А как у дятла, через простукивание. Промывы — раз, сгнившие рамы — перепад температуры и влажности — два. И еще прикладывали свою лепту землетрясения. Тут же всегда чуть-чуть да трясёт. Хотя бывают и весьма чувствительные удары. Последний в семьдесят четвёртом. Тогда аж шатер колокольни завалился. Пока стоит временный, маленький, но теперь-то можно будет восстановить прежний — чтоб до тридцати восьми

метров под крест. Так что работы неспорно! С завтрашнего дня начнем скликать бригаду. «Ну, ещё раз — с победой!»

Тимофтий Романович, «вложившийся» двухлитровой банкой сине-красного с терпким привкусом «изабеллы» вина с собственного виноградника и пачкой овсяного печенья, на чай не остался. В какой-то момент он вдруг перестал восторгаться собеседниками и по-детски тонко смеяться их, наверняка не во всём ему понятным шуткам, что-то притих, а затем и вовсе засобирался. При прощании они с дядей Костей быстро поцеловали друг другу руки. Остальным он скоренько покивал, и поспешил в сопровождении Вахтёра к воротам.

Макс, объевшийся и выпивший в общей сложности не менее стакана, сладко блаженствовал. Он, на правах родственника, закатился в угол дяди-костинного дивана и только успевал переводить глаза с говоривших на говорящих. Или даже кричащих. Кричать приходилось из-за «глушилок»: Владимир Васильевич упёрто извлекал из издававшего виды «Альпиниста» с перенастроенными контурами «голос “Свободы” из Мюнхена». На её четыре вещательные частоты в Кишиневе было только три «глушилки», и поэтому шла увлекательная игра в кошки-мышки с неведомыми дежурными по советскому эфиру. Каждые десять-пятнадцать минут нужно было перескакивать на освободившуюся частоту. А параллельно дядя Костя и Марго, как её звали «старшие товарищи», активно доказывали друг другу свою независимость от штампов московских диссидентствующих кухонь. Максу все казалось немного невзаправдашним. И эта плотно заполненная красками и ножовками, накуренная до сизоты комната, и прорывающийся как сквозь радио-мясорубку голос какого-то Глеба Рара. И такая страстность по поводу того, что Окуджава как поэт, несомненно, личность, а прозу бы лучше не писал, как и вообще невозможно читать Айтматова, после того как уже были Набоков и Бунин. Что это? Где это он? И кто такие эти Константин Леонтьев или, как его, Кокто?.. Ведь совсем-совсем недавно над головой пронзительно глупо кричали покачивающиеся на встречном ветру чайки, пузырячатый прибой шуршал смесью песка и ракушечника под босыми ногами, и со стороны порта несло смесью йода и ржавчины. А Соня Леденцова, как бы вот так невзначай, уже поджидала около хлебного... Хотя чего было ждать, если дело дальше засосов так и не двигалось?.. То было правдой, проверенной всеми органами чувств правдой, а что здесь?

За тюлем совсем потемнело, и вконец измученный плохим радиоприёмом Владимир Васильевич, сдавшись примитивной «Немецкой волне», отправился включать уличное освещение и проверять все ворота и калитки. Закисла и Марго, даже не докурив до середины, задавила очередную сигарету и стала, искренне позевывая, выносить опустевшую посуду в гроыхающий таз. Дядя Костя и Макс помогли ей, Макс даже принес свежей воды, и они вдвоём, наконец-то, пошли посмотреть росписи.

— А что это за кресты во дворе? Чьи-то могилы?

— Нет, они памятные. Вроде наших часовен. Это у местных форма зарока. Или благодарности. Например: решил пить бросить, или уже бросил. Или кто с войны живой вернулся. Или сын родился. События, они же для каждого по-разному ценятся. Я вот на луну с восторгом гляжу, а ты зеваешь. Или наоборот.

— А чего они такие страшные? Я про живопись: ангелы — как перуанские идолы.

— Страшные? А, наверное, оттого, о чём я и говорил: каждый на каждое по-разному смотрит. Вот и этими «идолами» кто-то восхищается. Субъективизм плюс национальные особенности.

«Художник не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом премирно, существующего образа: не накладывает краски на доску, а как бы расчищает посторонние налеты его, “записи” духовной реальности».

Священник Павел Флоренский.

Свет настенных ламп оставлял потолок в тени, ночь превратила окна в настороженные зеркала, и внутренность храма для Макса продолжала то уловленное на веранде ощущение «не совсем реальности» всего с ним происходящего. Может, это от отравления никотином? Но ему приходилось бывать и в более плотном общении с курящими, например, в задраенном кубрике «эмтэшки» в шторм. Там вообще всю ночь безвыходно дымило восемь человек, и нефilterованные сигареты. И стакан вина — не та причина, чтобы вдруг утратить восприятие фактур окружающего мира. Да ладно бы окружающее, но и собственное, хорошо изученное и подчиняемое тело стало каким-то... незнакомым.

«Изучать христианскую символику отдельно от богослужения невозможно: она развивалась вместе с богослужением, вместе с ним толковалась и раскрывалась отцами Церкви. Вне богослужения она теряет свой смысл, превращаясь в ряд отвлеченных, бесплодных понятий».

«Настольная книга священника», «Иконопочитание».

Евангельские сюжеты без прочтения самого Евангелия укоряли пробелами слишком среднего образования. Хорошо, что всё подписано, можно не спрашивать лишнего, а с умным видом кивать в такт дядиному восторгу. Как Вахтёр утром. Но всё равно, что такое «Сретение» или «Вход Господень», приходилось догадываться по ходу, а точнее, задним числом. «Беседа с Никодимом» вообще необъяснима. Но как написан лунный фосфорирующий свет! Даже в «Поклонении волхвов» не было такого понимания невесомости полнолуния. А здесь многочисленные купола спящего перед собеседниками города плыли пузырями мерцающей живой влаги. За Христом и Никодимом лежал не обреченный за богоубийство Иерусалим, а сама Вселенная, не имеющая ни масштаба, ни сроков.

«Мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных предметов без какого-либо посредства, а для того, чтобы подняться вверх, имеем нужду в том, что родственно нам и сродно».

Св. Иоанн Дамаскин.

Николай Пискарёв был младше Васнецова лет на десять–пятнадцать, и, естественно, много вобрал от его Владимирского собора. Он даже прямо скопировал несколько композиций, в том числе двух коленопреклоненных, с широкими опоясками, архангелов по сторонам иконостаса. Но, при всём наследном академизме, на Пискарёве уже отразились рефлекс от его ровесников-импрессионистов: абсолютный графический реализм просто звенел открытыми цветами. А от младшей сецессии вились усиления окрашенных упругих контуров. С перерывами Пискарёв проработал здесь четырнадцать лет, на пару со своей глухонемой дочкой, собственными руками прописав все орнаменты и даже имитации мраморных плит. Но как убрать эти страшные перекрещивающиеся трещины и белеющие осыпи? Особенно на потолке — с провисами, с обнажениями обрешетки.

— Всё возможно, всё увидишь. Но самое удивительное, о чём я совсем недавно узнал, — то, что Пискарёв как раз в эти самые годы несколько раз побывал в Коктебеле. Представляешь, какое переплетение?

Дядю Костю нельзя было представить без книжки Волошина. В руках, в кармане, на столе между кружкой чая и пепельницей. А зачем? Если он и так помнил все стихи наизусть? Его главной радостью являлись пребывания в Доме Поэта, его величайшей гордостью была дружба с Марией Степановной. Не писавший ничего сам или удачно скрывавший это, он, в тот свой единственный приезд в Ильичевск, заставил, через очередную обиду, но всё же заставил Макса прочувствовать, реально ощутить на губах странную сладость ритмизованных и рифмованных строчек, горлом испытать терпкую густоту аллитерации. А что бы иначе Макс сегодня знал, кроме как «Переправа, переправа, берег левый, берег правый»? Или «Мой дядя самых честных правил»?.. На его невольный хмык дядя Костя оборвался на полуслове.

— Похоже, на сегодня хватит.
— Прошу прощения. Это нервное.
— Такой красотой насыщаться нужно постепенно. Завтра твой первый рабочий день. Как здоровье? Помаленьку сможешь?
— Да и помногу тоже.
— Не хорохорься. Погоди, ещё так загрузим, солнца хватать не будет.
— А вы и по ночам работаете?
— Как придется. Пока нет.
— Нет? А кто тогда этой ночью по храму топал?
— Топал? А, это так, местное привидение. Он ещё стонать начнёт. Ночами с четверга по субботу. Но ты не обращай внимания. Обычная вещь, привыкнешь.

Выключив лампу, Макс старался не смотреть в подсвеченные снаружи эмалево-безжизненным неоновым светом окна. Вытянув конечности, он перевёл дыхание в диафрагму и расслабленно стал ждать сна. Но сегодня тот где-то задерживался.

Ну и шуточки у дяди Кости! То философской заумью фонтанирует как с равным, то вдруг ёрничает. «Привидение». Не знаешь, как и реагировать. Ему ж и не двенадцать давно. Тогда, может быть, и поверил. Или не поверил? Что? Вот внизу опять кто-то проскрипел дверьми и неторопливо тяжко прошёлся в гулкой тишине. Замер. Вернулся в притвор и снова потопал в храм. Спуститься посмотреть? Что там за «привидение». Леню одеваться. Ладно, спать. Спать. Спать... А завтра пятница...

Работы с каждым днём прибывало. Как прибывало и народа: за две недели — одиннадцать человек новеньких. Макс, на три дня заселившийся раньше неопитов, ими воспринимался уже как старожил. Он вводил москвичей, владимирцев и челябинцев в курс общежитского уклада и режима, показывал баню, прачечную, водил на почту и в магазин. Новички в основном были просто интеллигентными отпускниками, врачами и конструкторами, годными только для лопаты и молотка, и только трое киевлян являлись настоящими художниками-реставраторами. Но они уже побывали в Кровахлебе в самом начале работ и в Максовой опеке не нуждались.

Расселялись все по указанию старосты в ближайших домах по одному, по двое, чтобы не особо напрягать прихожан. И не создавать напряжения слишком плотного соседства. Вообще Тимофтий Романович всегда и вовремя присутствовал в решении любых возникающих проблем. С утра до темноты он то что-то писал за конторкой в церковной лавочке, то ревизовал какой-нибудь склад. Всё всегда видя, чуть ли не заранее предчувствуя любую неловкость, при этом напрямую в дела реставраторов не вмешиваясь, он тихо, с улыбкой, в случае необходимости, брал под локоть дядю Костю, они шушукались в сторонке, и возможный конфликт, не надувшись, исчерпывался.

Чаще же всего напряжения и возможные конфликтности нагнетались вокруг трёх киевлян. Притом, что дядя Костя разве что пылинки с них не сдувал, говорил только тем самым своим фальшиво сюсюкающим тоном и на всё время улыбался. Естественно, Макс, как и остальные, этого его сюсюканья не понимал, хотя, может быть, они, действительно, мастера особенные? Ладно, как говорят в Одессе: «будем посмотреть».

Прежде всего, за пять дней пребывания киевляне в третий раз требовали переселения «в нормальные человеческие условия». Это что: перины, чистые пепельницы, свет на всю ночь, по утрам молоко, по вечерам вино? Так это же у всех. Может быть, ещё чтобы мух не было? И собака по ночам не лаяла? Тимофтий Романович с дядей Костей сегодня опять пошептались за алтарем и в очередной раз покорно их перевели. Ну ладно, это потому, что тем пока везло — в субботу на приход «наезжал» из Кишинёва живший в городе настоятель отец Александр. Вот уж кто в принципе ни с кем не договаривался. Он тебе сказал, а ты либо соглашайся, либо свободен. Макс как-то несколько не так представлял себе духовных пастырей, однако, с другой стороны, когда впервые увидел священника в полном облачении, под распевы хора обходящего со сладковато дымящим

кадилом пять сотен своих вытягивающихся в струнку прихожан, то понял, что начальство, хоть и духовное, а начальством остается всегда.

Невысокий, абсолютно прямой, с маленькой чёрной кисточкой стриженной бороды и узкими «мерзавчиками» седых усов, сорокапятилетний отец Александр, ходивший по церковному двору в белом подряснике и острой фиолетовой скуфье, являл собой «столп и утверждение Истины». Истины в последней инстанции. Его холодные, светло-голубые глаза словно спицами протыкали всякую предстоящую ему плоть, вычленивая внутреннюю мотивацию её проступков и выявляя самые тайные помыслы. Потом эти глаза возводились «горе», и попавшему в зону внимания «чаду» категорично объявлялся приказ-приговор о необходимости тех или иных норм поведения. В таком же категоричном тоне отец Александр выдал Максу две брошюры и велел одну прочитать, а в другой выучить наизусть очерченные карандашом молитвы «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся». «Символ веры — желательно», — иначе он его в следующее воскресенье не окрестит. Макс только задним числом понял, почему вдруг с таким удовольствием он подчинился: он же точь-в-точь как тренер Сан Саныч — и жестко, и понятно.

За эти дни по всему храму выросли металлотрубные леса, словно гигантские модели молекул кристаллического углерода, равномерно заполнившие его сложное внутреннее пространство. Опооясывающие трехъярусные дощатые настилы порезали стены и окна, центральное перекрытие зависло прямо над паникадилом, придав камерность и несколько театральную катакомбность богослужениям, что вызывало восторг новизны у местных жителей. Теперь они заходили на территорию храма по любому выдуманному поводу и подолгу разевали рты в гремящей молотками и пилами бисерике, почти беззвучно вышептывая загадочное молдаванское «мэй, мэй, мэй...». Да, повезло киевлянам, что сегодня была пятница. Их вещи безропотно перенесли на новое место, а вскоре после веселого восьмичасового ужина и остальные тоже рассеялись по «домам». На веранде опять заверещали глушаки, забормотали Марк Дейч и супруги Царюновы. Владимир Васильевич и дядя Костя застыли в позах роденовских мыслителей над в конце зашарпанной, еле клетчатой шахматной доской с разномастными фигурками. А Маргарита Бахытовна длинными, увешанными массивными серебряными перстнями пальцами выстукивала на пишущей машинке очередную справку по очередному запросу водоканала или санэпидемстанции. Все трое были почти ровесниками, может, дядя Костя старше лет на пять, ему уже сорок, знали друг друга не первый «сезон», «в упряжке прошли» Вологду, Горький, Алма-Ату и Кострому. Отношения между ними сложились весьма забавные: абсолютно, без переспрашивания, доверительные, до рефлексии слаженные и, в то же время, в личном общении подчеркнуто «на расстоянии». Например, всегда на «вы», хотя и просто по имени.

Справка окончена, печать поставлена, дядя Костя не отвлекаясь расписался. Можно поприставать с вопросами.

— Храм «Успения Богородицы» строился с 1893 по 1899 годы. А расписывался с девятьсот восьмого по двадцать второй. — Марго чуть-чуть морщилась на особо зверские звуковые изыски борцов со свободой информации, и её желтовато-терракотовое лицо восточной княгини принимало особо надменный вид. Макс любил смотреть на её лицо и слушать слегка надтреснутый голос «потомщицы повелителя пустынь», как она себя величала, иногда очень даже не в шутку. — По документам, здесь рядом должны быть остатки прежнего деревянного здания, конца восемнадцатого века. Мы искали в прошлом году, но не нашли. Зато обнаружили массовое захоронение погибших от холеры 1902 года. Восемь слоев по пятнадцать человек, пересыпанных известью. Наверно, их свозили сюда из разных мест.

— А почему вообще такое странное название «Кровохлёб»? И не молдавское даже.

— Здесь, у подножия горы, до войны были знаменитые скотобойни. Но в сорок четвертом село почти полностью погибло. А когда возродилось, получило название в русском переводе. Так топографы написали, а в те времена сильно с начальством не спорили. По-молдавски гора называется Сынжера.

— Я, когда ехал, слышал от водителя, что в Молдавии каждая гора — либо спящий богатырь, либо дракон. О чем это?

— Да, я знаю эту легенду. Или быль. Отсюда и легкие землетрясения — храпят! Вот мы сейчас находимся как раз на спине дракона. Этот холм несет явную энергетику земноводного. Ты не чувствуешь? С возрастом появится. А вообще у Молдавии действительно особая судьба. Эта страна всегда была окраиной чьей-либо империи. То Римской, то Турецкой. То Российской. И сюда же метрополии обычно ссылали своих преступников на поселение, поэтому у лингвистов бытует шутка: «молдавский язык — блатная латынь». Кстати, в русских сказках сюда же, на Днестр, богатыри приезжали со Змеем Горынычем биться. А почему? Это насчет энергетики. Всё потому, что земля здесь вампиризирует. Силы высасывает. Не вздумай даже в самый жаркий день на неё прилечь, сразу простынешь. Это тебе не Украина, где и ночью от почвы тепло. Вроде бы и рядом, а всё не так. Овидий много здесь плакал. И Пушкин об этом же свидетельствует. Окраина миров. Докатывались до этих мест завоеватели, покоряли местных, а дальше двигаться сил уже не было. Здесь обычно кончались самые великие походы.

— Маргарита Бахытовна, а почему церковь-то на спине дракона? Разве так можно?

— Церкви всегда так и ставят: либо на светлой точке, и тогда она как свеча всем светит, либо на чёрной, на подавление зла. Вот здесь оно и давится. Храм — он всегда венец всему земному. А эстетика на подхвате.

— Там! Эй... Эй! — Сначала кто-то, вместо того, чтобы дернуть входную дверь, некоторое время ее вбивал, потом с порога опять раздался вопль: — Эй! Откройте! Он... Стонет! Там! Он ходит... и ко мне со спины... и как застонет!..

Крупно вспотевший до кончика носа, светло-русый, широкоплечий верзила широко разводил ручищами и бурно дышал. Он был из совсем новеньких, москвич-инженер и молодожён. Бедняга подрядился за отпуск подзаработать на мебель в новообретенное гнёздышко, при этом обязательно объясняя всем подряд, что «вообще-то он в Боге сомневается». Макс, как истинный долгожитель, снисходительно ухмыльнулся:

— Мужской голос?

— Д-да!

— Молодой, высокий? — Прикуривая от прозрачной импортной зажигалки, с самым серьезным видом уточнила Марго.

— Да! Молодой... Там!

— Ничего страшного, это местный, его тут лет семьдесят знают, — не отрываясь от доски, успокоил парня дядя Костя.

— Да? Но... он подошёл со спины...

— Не волнуйтесь, попейте с нами чаю.

— Да?.. Нет! Я уж пойду, домой пойду. Я же на минутку, хотел только дрель взять, хозяйке пару дырок в стене провертеть. Я лучше пойду, а вы, пожалуйста, за мной ворота закройте.

Этот здоровенный бугай просто боялся выйти по сумеркам один, и наконец-то вырубивший свое шипение и хрюканье Владимир Васильевич пошёл его провожать, а заодно включать уличное освещение. Как же бедолага перетрухнул! Наверное, завтра же смотается домой. А вот нечего было инструмент без разрешения брать. И «сомневаться».

Макс давно не нуждался в провожатых, и на бродящего и постанывающего под ним тоже научился не обращать внимания. Бродит и бродит. И даже желания нет его подкарауливать. А что? Каждый живет в своем мире... В низинке двора, в дальнем углу за алтарем посреди кустов сирени он вытоптал площадку, приспособил самодельный турник

и начал потихоньку входить в форму: подтягивался, отжимался, приседал. Подвешивая на перекладину полотенце, набивал кисти и предплечья. Всё потихоньку, полегоньку, чтобы живот не потянуть. Но пять–семь обязательных подходов в день делал. Сегодня его за этим «застукал» Владимир Васильевич. Постоял, почесал свою обширную бороду. И вдруг притащил замечательную брезентовую грушу! Потертую, подштопанную — всё как полагается.

— Только на день убирай. Староста не одобряет. А я ею зимой нервы лечу.

— Побегать бы. Вы не желаете?

— Я своим здоровьем с ноября по апрель интересуюсь. А коли побегать, так вон — за кладбищенскими воротами шикарная шоссейка на свалку. Двенадцать кэмэ туда, двенадцать обратно. Только с первого раза далеко не нужно, холмы дыхалку сожгут.

Прятать, так прятать. Зато староста показал Максу простейшие звоны. Колоколов над его комнатой висело четыре: два огромных, сорокапудовых, и два небольших, пронзительно-звонких. Звонили по воскресеньям, да еще на похоронах. Хорошо, «богато» и далеко звучал только один из великанов — он был русский, медь с серебром, весь в херувимах и орнаментах, отлит по заказу «братьев Соловьевых». А второй, румынский, был чисто чугунным, только бухал. Его подвесили уже во время оккупации, вместо сброшенного большевиками родного. Холодный металл через ошупь выдавал свою суть: могучая тяжесть под декоративной игривостью внешности и идеально просчитанная, избитая по краю языком, внутренняя сфера... Как такое рассчитать, сделать форму, вылить? И — эх! — какое же мастерство порастерялось за советское время...

— Тут изначально девять колоколов было. Я маленьким помню, как тогда звонили — мэй, мэй, мэй! Красота.

— А кто такие братья Соловьёвы?

— Бог знает? Дарители. Много их было. Вот и бисерика из именного кирпича построена. И тоже братья, Медяевы. Кто они? Бог знает. Он всех знает, всех чтит, кто на церковь работал, вот и нас с тобой тоже теперь запомнит.

За той заалтарной стеной, через дорогу, широко растянулось унылое сельское кладбище, плотно заселённое ежиками. Оно мягким уклоном спускалось к вездесущим орешникам, укрывающим глубокий овраг, по которому протекала струйка мутного глинистого ручейка. Кладбище как кладбище, ничего интересного: заросшие хвощами и репейником частые холмики за убогими оградками и с одинаковыми безликими крестами из окрашенных металлических труб. Всё весьма незатейливо. Разве что пара десятков поминально-зароковых, под крышей и за стеклом, высоких деревянных распятий, жутко размалеванных местными вакулами. Неуютно как-то. И даже в самый жаркий полдень тут было зябко...

Вообще-то храмовый двор выполнял роль Стикса: покойников заносили в главные ворота, отпевали в церкви, а потом выносили через задние малые. «Харон» — «по-хоронь». Ого, Макс уже тоже что-то улавливал в звуковых неслучайностях. Сие печальное мероприятие проходило мимо окон веранды раз-два в неделю обязательно. Последние похороны были как раз в прошлую субботу. Здесь, в Молдавии, Макс впервые увидел, как работают профессиональные плакальщицы. Три тетki, распустив волосы из-под чёрных платков, в очередь, но все равно неожиданно вскидывали к небу руки и пронзительно взывали двухстрочными причитаниями. Остальные, — а народу было немало, — угрюмо, но внимательно следили за ритуальными мелочами. Главное, чтобы гроб перенесли три раза через стаканчик с вином и хлебом, чтобы за телом сначала несли крышку, а потом сварной из труб крест с привязанной цветной рубашкой, означавшей, что новопреставившийся был женатым, и уже только после плакальщиц и родственников — венки. А на позапрошлой неделе отпевали девочку. Вот уж где местные странности просто подавляли: детей тут хоронили только дети! Под те же вскрики нанятых плакальщиц

гробик несли старшенькие, лет четырнадцать мальчики, за ними помладше покачивались под крышкой. И только крест возносился над бредущими позади взрослыми. На синем кресте мучительно белело кружевное полотенце: девственница. За священником важно вышагивало человек сто. И ни одной слезинки: кто мать, кто отец?! Над могилой последние молитвы, и автобусы тут же увезли всех на поминки. Свежий глиняный холмик в вянущих георгинах и флоксах, синий крест с белым полотенцем. Медленно разгибающиеся стебли примятых трав... Вообще на кладбище родственники лишний раз не появлялись. Не принято тут такое.

А утром понедельника наступила Новая Эра.

Сопровождалось ли её наступление трубным звоном и гимнами духов, волнением вод или падением светил? Нет, такое обычно происходит совершенно незаметно для множества, ибо касается только двоих. Это потом, попозже, находятся свидетели, участники и описатели. А самое-самое начало, оно всегда только лишь для двоих.

Придерживая на груди новенький кипарисовый, из самого Вифлеема, крестик, со вчерашнего полдня раб Божий Максим, слегка проспавший по этому поводу, привычным морским накатом слетал по винтовой лестнице, как вдруг его что-то толкнуло в грудь, а ноги, наоборот, ещё быстрее заспешили вперёд. Пропрыгав на пятой точке последние ступени, Макс услышал звонкий девчачий смех. В приоткрытом проёме пятиметровых дверей почти черный контур в прозрачной дымке платица ещё раз хихикнул в кулачок и растворился в переливчатом золоте уличного полдня. Кто это? Завернув в полотенце зубную щетку, умытый и окончательно пробуждённый, Макс свирепо влетел на кухню и вновь получил толчок: около пышущей синюшным пламенем газовой плиты, с огромной борщевой кастрюлей и такой же объёмной, с шипящими в масле фаршированными перцами сковородой стоял ангел. Если, конечно, ангелы бывают черноволосыми.

— А! Ты прости, что я так глупо засмеялась. Не ушибся? А ты что тут делаешь?

Надо же, как давно к Максусу, кроме дяди, никто на «ты» не обращался. Пока он этому удивлялся, получилась длинная пауза.

— Что я тут не делаю?... Вот, воду ношу. По вечерам так и посуду мою.

— Нет, вправду.

— Вправду? Ещё тру известку через железное сито с крупной ячейкой, потом через сито с мелкой, далее вкапываю столбики, а так же выкапываю столбики. Бегаю с рулеткой, записываю, перепроверяю, вставляю стекла. Отношу письма, точу ножи, поддерживаю на распилке доски, а потом выгребаю опилки. И скоро мне позволят смывать на потолке копать.

— А я подумала, что ты художник.

И ангел в который раз обидно прыснул в кулачок.

— Вообще-то правильно подумала. Но преждевременно.

Кто бы знал, что есть на свете ангел, которого зовут Ангелиной. И почему — Геля?... Ангел оказался внучкой старосты и вполне прилично готовил на пятнадцать человек обеды и ужины. И жил он на самом конце улицы Лазо. За высоким, беспросветным забором. За которым жила ещё и совершенно неприручаемая собачонка. Ангел поступил в Кишиневское медицинское училище и до сентября никуда не исчезал. И поэтому они сговорились в воскресенье съездить в город вместе, поесть шоколадного мороженого в «Прикенделе» и сходить в кино с биккулярным эффектом. Какой фильм? А он один и тот же весь год — «Чёрный монах».

Ангел Ангелина...

Вот и Макс начал писать стихи...

Если б знала: тихо по ночам,

*Когда звёзды плещутся в окне,
Волосы рассыпав по плечам,
Призрак твой является ко мне...*

Уронить с лесов коробку с бутылками камфорного спирта может любой. Амбре, конечно, соответствующее, и собирать лужи и стёкла нужно быстро и дружно. Но при этом вовсе не обязательно дяде Косте все время подмигивать ухмыляющейся Марго, а подметающему осколки Владимиру Васильевичу напевать: «...заглянул... в соседний сад. Там смуглянка... молдаванка... собирала виноград...» Зачем это?! Макс перестал ходить на вечерний чай. Что там для него? Он и раньше особо в коммунизм не верил, но от такой антисоветчины у него в последнее время в голове вообще всё набекрень, в пору куда гранату бросить. А почему у Бердяева такие короткие, не разворачиваемые фразы, как у типичного шизофреника, Макса тоже не касалось. Не читал, недосуг, а теперь и вовсе не до того.

Никак не удавался портрет. Профиль вроде бы похож, а вот глаза, губы... Всё время чего-то не улавливал. Получалось вычурно. Изорванные пачки бумаг каждое утро сжигал в печи. И лупил грушу.

Дорога за кладбищем просто идеально предназначалась для бега. Узкая, гладко асфальтированная полоса поднималась на лысую вершину и потом, спускаясь мимо козьей фермы, некрутым, поблескивающим под луной виражом уходила за следующий холм, заросший орешником. Погрозив пальцем попытавшемуся с ним выскользнуть за калитку Вахтёру, Макс сделал несколько принудительных вдохов и побежал.

Полная луна, светившая сзади, гнала под ногами отчётливую короткую тень, неяркой ртутью переливалась на мелких ромашках вдоль обочины. Раз-два, три-и. Раз-два, три-и. На два шага вдохи, на один выдох. Вдохи носом, выдох ртом. Только цикады почему-то сегодня молчали. В гору, действительно, высеменил почти пёхом, с непривычки оказалось крутовато. Сверху оглянувшись на село и остановился, залюбовался.

Подножие горы уже заполнял туман, радужными пузырями охватывая многократно увеличиваемые жёлтые и голубые пятна уличных фонарей. Белесая муть стирала перспективу и замыкала горизонт. Только острые вершины пирамидальных тополей и кипарисов, маяками прокалывая быстро наплывавшую влажную пелену, остро блестели копейными наконечниками. Остальное казалось подводно-зыбким. Невысокое небо, лоснившееся окололунным нимбом, ближе к краям играло множеством мелковатых переливчатых звезд. С середины горы, где еще тумана не было, бархатная чернота садов отвечала звездам такими же разноцветными блёстками окошек и крылец. А над всем царил храм. Золочённый крест колокольни, собрав на своих гранях свет жёлтой луны и голубых фонарей, пронзительно сиял зеленоватым пламенем.

Надо же, а цикады действительно с вечера молчали. Неужто будет гроза? Но ни тучки, ни ветерка... Под гору бежать почти одно удовольствие, только слишком громко шлёпали расслабленные стопы. На козьей ферме, — длинный сарай, будка сторожа и вытопанный загон с поилками, — никого нет. Или спят. Ну, да, встают-то с восходом, по-крестьянски. Наконец второе дыхание пробилось испариной, Макс стянул через голову майку, на ходу завязал вокруг пояса. Сегодня — до того холма с геодезическим знаком и обратно. Вполне достаточно.

За протяжным поворотом начиналось поле подсолнечника. Бесчисленные шершаво-сухие стебли держали отяжелевшие, уже растерявшие желтые лепестки головы наизготовку к востоку. Утропоклонники. С треском под ноги вылетел здоровенный русак. В два прыжка пересёк дорогу и с таким же громким шорохом исчез. Ну, заяц! Ну, погоди! — Заяц, он так же как кошка, дорогу перебегает не к добру. О Пушкине Макс читал достаточно. Больше школьной программы.

Может, хватит на сегодня? Может, вернуться?.. Но до подъема на намеченный холм оставалось метров триста. Нет, надо добивать. Макс спиной пересек черту заячьего

следа и поймал лицом луну. Или луна поймала его. Тело, продолжая бежать, вдруг стремительно стало терять вес, и он едва успевал кончиками кед касаться асфальта. Даже вновь отвернувшись от луны, Макс никак не мог теперь ни остановиться, ни даже изменить скорость: его невесомое, безвольное и бесчувственное тело сильно парусило в гору. Синевато-зелёные лучи ровным упругим ветром толкали вперед, и он только рефлексивно перебирал ногами.

Метров через двести Макса отпустило. Сразу страшно заколотилось сердце, пот, протекши через брови, защищал глаза. Согнувшись пополам, он кое-как отдышался. Фу! Что же это было? Обморок? Скачок давления? А страху-то натерпелся, как взаправду. Здесь дорога пересекала невысокую молодую лесополосу. Конечно же, из грецкого орешника. Макс, всё ещё фыркая, сошёл с дороги и напрямую через заросли направился к геодезической пирамиде. Отметиться.

Хорошо, что он снял белую майку. Хорошо, что зацепился ею за молодой острый побег. Иначе он либо был бы замечен ещё издали, либо безоглядно глупо вывалился на расчищенную вокруг геодезического знака от зарослей искусственную поляну. Где совершалось нечто такое, чему стать свидетелем ни ему, ни кому другому явно не предназначалось.

У самого подножия четырёхметрового бревенчатого сооружения на большую плоскую бетонную плиту-перекрытие слетались светляки. Плита как плита, давно брошенная неведомыми строителями, она наполовину ушла в землю и торчала наподобие трамплина. Ничего в другое время особенного. Но сейчас... Тысячи, десятки тысяч мелких жучков, неоновыми искорками вычерчивая пунктиры коротких перелётов, отовсюду собирались к бетонной площадке и, сбившись в шевелящуюся шапку, непередаваемо жутким светом озаряли окрестность. Подлетающие всё новые и новые огоньки жадно втягивались в общее мертвенное пламя и поглощались, как астероиды и кометы космическим голубым карликом. У этого фантастического светила стояли, облепленные натыкающимися насекомыми, две женщины. Одна, что была спиной к Макс, была молода, её юность не скрывали ни наброшенная на голову и плечи шаль, ни длинная, в землю, юбка. А вторая, с той стороны светящейся плиты... Макс даже не узнал, а просто разом понял, что это та самая старуха, что встретила на перекрестке в первый вечер его прибытия в Кровохлёб. Старуха, сгорбившись, облокотилась на короткую палку и молча смотрела на слетающих светлячков, словно чего-то ожидая. Даже на расстоянии Макс разглядел приопущенные безресничные веки и длинный нос, нависший над провалом беззубого рта. Чистая ведьма. И что дальше? Да, зачем они здесь? Колдовать? Неужели жениха нельзя приворожить менее эффектным способом? Макс-то понарассказывали — этих самых способов в Молдавии достаточно напридумано.

— Нет. Не сегодня!

Старуха резко распрямилась, мотнув головой. Ударил палкой по плите, и живой костер пыхнул мириадами голубых и зелёных искр. Сноп светляков, вскипев, дымным фонтаном ударил высоко в небо, рассеиваясь оттуда по всей горе. Как эти слабенькие летуны могли подниматься так высоко? Бледные огоньки опадали и гасли в траве и орешнике. Несколько насекомых сухо шлепнулись о листву вокруг Макса. Он тихонько подхватил одного в ладонь — невзрачное существо с раздуто-вытянутым досвечивающим брюшком вяло шевелило лапками. Бедняжка.

И вдруг заметил, что старуха и девушка... пропали. Как никого и не было. Лунное небо, горка с бревенчатой пирамидой. И только разлетающиеся с бетонной площадки жучки.

Постояв ещё пару минут, Макс осторожно, стараясь не наступать на хрусткий валежник, выбрался на дорогу. И побежал, быстро побежал к селу. Справа подул ветерок, луну то и дело стали перекрывать круглые облачка. А где-то далеко-далеко впереди над

самым горизонтом пару раз пыхнули далекие молнии. Ну да, не зря же цикады молчали. Не зря. Все на свете не зря. И заяц тоже. Слушаться нужно. Не умнее же Пушкина.

Возле козьей фермы ветер ударил уже как следует, в секунду выстудив остатки нереальности. Тучи окончательно зачернили небо, а перед кладбищем Макса догнали первые капли дождя. Заалтарная калитка оказалась запертой. Подергав кованую рукоять, Макс приставил к стене какую-то доску, с неё подтянулся, вскарапкался наверх. Дождь стучал по-настоящему. Он уже приготовился спрыгнуть, как снизу блеснули два глаза, и раздалось рычание.

— Вахтер, это я. Пусти, мне уже и так досталось.

Рычание отошло, но не прекратилось.

— Вахтер, не пугай меня.

Макс удачно спрыгнул, распрямился.

— Иди сюда, псина, я тебе за ухом почешу. Ну?

Собака рычала и не подходила. Да что это с ним? Ладно, как знает. И, уже совсем мокрый, Макс побежал на свет веранды.

А там... Под самым порогом стояли чемоданы и сумки, а за столом ругались дядя Костя и Владимир Васильевич с одной стороны, то есть с дивана, и трое киевских художников со стороны окна. Марго не было. Особенно распалился старший из неуживчивых хохлов, чернявый, плотный, пятидесятилетний кипятильник с гарными запорожскими усами:

— Да я усим порасскажу, шо вы условия нэ выполняете! Я молчать нэ буду! Нэ на тэх нарвались. Я заслуженного художника нэ за так получив! Вы у меня до смирты икать будете. Усим размовлю! Брехуны!

— Да пофиг, хоть в Спортлото жалуйся! Я-то своё слово сдержал.

— «Сдержал»?! Та вы тильки послушайте! Это ж элементарный простой: мы тут другую неделю, а у вас поле не готово! Шо, мне стены клеить прикажешь?

— Конеч-ечно, нет! Вы же сюда просто пенку с зарплаты слизнуть прикатали.

— Га! Та ты ж мои деньги с первого дня считаешь.

— Да, но только это мои деньги.

— Та тож мы ещо побачим: твои ли!

— Мои! И хватит зубами скрипеть: я вашу дурость уже достаточно терпел. Весь этот сановный идиотизм.

— Як?! Та я! Та ты ж! Та за такую мову у нас на Подоле по сусалам!

— Тогда пойдём. — Дядя Костя вдруг перешел на шёпот. И стало видно, как разом пожелтел. Глаза стали круглыми и лучисто-черными. И усы вздыбились. Нависший, было, над серединой стола визгливый оппонент совсем не ожидал такого скорого отклика.

— Пошли, товарищ. — Дядя Костя встал и неспеша стал застегивать пуговицу на груди.

Киевлянин растерянно оглянулся на земляков, но те тоже как-то вмиг потеряли азарт. Драться ночью, в чужом месте, да ещё и с чемоданами. Ну, ладно, можно и перемахнуться, а вот после? С вещами-то... И, это, пока ж не решили: трое на трое или один на один? А Константин Павлович уже выходил. До смешного худой, длинноволосый и длиннобородый, в дневное время напоминавший нестарого хоттабыча, сейчас он смотрелся готовым к бою дон-кихотом. Худой-то худой, но Макс уже знал, что он железный. На руке он тут многих валил, даже землекопов.

— Дядя Костя, — Макс впервые при чужих позволил себе так его назвать, — там такой дождь хлещет. И грязь.

— Да-с, дуэль в такую погоду... Не эстетично. Господа-товарищи, катитесь-ка вы ... до хаты, переночуйте, а завтра зад об зад и по будинкам. Константин Павлович, вы же видите, противоположная сторона вовсе не настаивает на немедленном поединке чести. Успеется.

— Да кончайте ж вы! Як малые. — Владимиру Васильевичу завторил уже один из киевлян. Так как основные противники, застолбинева, молчали, то остальные присутствующие с облегчением приняли на себя роль секундантов. Константин Павлович подергался на крыльчке — ливень лил как из ведра, плюнул в темноту и вернулся. Играя желваками, сел в угол. Ладно, утром разберемся. И ладно. Но вещи киевляне оставить отказались наотрез и потащили их с собой под проливным дождем. Пока Владимир Васильевич закрывал за ними ворота, откуда-то появилась Маргарита. Она заварила свежий чай, уредила на столе бумаги и печенье, даже замела у входа. И все всё молча.

Молча же листал «Журнал Московской патриархии» и Макс: приём президента Финляндии в Сергиевой Лавре, экуменические встречи в Пюхтицком женском монастыре, похороны настоятеля в Арзамасе... Новые иконы монахини Иулиании... А как он-то сюда летел рассказать только что увиденное! А может, как раз и самое время?

Вернулся Владимир Васильевич. Опять молча долго снимал и вытирал мокрую обувь, стряхивал за порог плащ. Потом молча же все разобрали кружки, только излишне громко гремели ложечками. Дядя Костя не выдержал, стал оправдываться:

— Они и не собирались со мной работать. Да всё всеми с самого начала понималось. Чего уж кокетничать? Изначально стояло — либо они, либо мы. Даже сейчас они не в накладе: аванс получили, а Науму настучат, что это я не дал им поработать. Вернутся в свои Жабки, но деньги-то не вернут. И нам теперь придется выкручиваться. Других художников в это лето нет.

— Константин, а чего вы так Наума боитесь?

— Милая Марго, никого я не боюсь. Просто жизнь коротка, а ответственность за неё несоразмерна. Раз конфликт с этими ... парубками начался в открытую, теперь столько сил и времени уйдёт на оправдание, что.... А в министерстве только и ждут, как с нас заказ сбросить. И мы при любом раскладе бо-ольшие бабки потеряем.

— Дядя Костя!

— Да помолчи ты! Без тебя разберёмся.

Владимир Васильевич, придавив плечо вскинувшегося от такой обиды Макса, прикрыл парня собой:

— Константин, да нешто впервой? Что ли мы идиотов не видели? И Наум не мальчик, свою выгоду всегда вычислит. Куда ему без нас? Без зарплаты не останемся. Вон, Макса натаскаем, он через год не хуже этих гусей гакать будет. Так, Макс?

— Мне через полгода Советской Родине долг отдавать.

— И что? — Теперё вскинулся Владимир Васильевич. — У тебя плоскостопия нет? Да пошла бы она, эта Советская армия...

Стало понятно, что здесь и сейчас его никто не услышит. А когда? Он же им такое рассказать хотел! Такое... А они тут из-за несчастных денег готовы друг другу пасти рвать... Да пошли они все сами! С «плоскостопием»! Макс буркнул «ариведерче», и под почти окончившимся дождём побрёл высчитывать слога в почти написанном сонете. Он же им хотел такое рассказать, такое...

Ангел Ангелина...

«Прикендел» — это местный Мальчик с пальчик. Или Покатигорошек. Детское кафе в самом центре Кишинёва, недалеко от почтамта. Они сели у окна. За стеклом по разморенному солнцем проспекту Ленина фланировала заезжая публика, атакуемая лицензионными фотографами. Но отдыхающих из других городов больше интересовали ларьки и подвальчики. С лотков дамы покупали вишню и сливу в шоколаде, а в подвальчиках кавалеры пытались понять разницу между «пуркаром» и «чумаем». Нужно только представить среднестатистического оталоненного жителя Ярославля или Чебоксар, оказавшегося в таком столичном изобилии! Всё-всё есть! И без очередей. Тут, главное, не спешить, не зарваться на старте, чтобы денег хватило до конца отпуска.

И публика плыла, плыла мимо, мимо... А кафе чудо как уютно. И столики не слеplены, как обычно, и скатерти чистые. Тихо звучала челентановская «Сюзанна», и со всех сторон малышня безумно завидовали «дяде», перед которым в трех металлических вазочках стоял целый килограмм мороженого. Геля уговорилаcь только на стопятыдесят с вишневым сиропом. А потом, может быть, и немного с шоколадной крошкой. Но после кофе. А шампанского тут не бывает — кафе детское.

Макс, немного пережатый новыми — с первой полочки, негнуцимися джинсами, изображал настоящего одессита. Анекдоты с географическими подробностями, перечень «саш», «вень» и «толей» с великими и знаменитыми фамилиями, драки с неграми на пляже за место под солнцем. Она смеялась, смеялась как совсем маленькая, хотя сегодня, с распущенными под Ротару черными волосами и разрезом на полосатой юбке, она очень даже выглядела на свои семнадцать. И если бы он хоть на секунду перестал паясничать, то, наверное, натворил бы глупостей.

Ангел Ангелина...

— Я в колокольне его каждый день, вернее — каждую ночь слышу. Действительно, как в субботу, а потом и в воскресенье послужат, так ночью тишина. Первые признаки начинаются со вторника на среду: постукивания, потрескивания. Шорохи. Но все — так, неконкретно. А вот после четверга он уже ходит. Дверью хлопнет, — а как? Она же закрыта на замок — я сам же запираюсь. И тяжело так идёт по храму к алтарю. Остановится под люстрой и вздыхает. Конечно, жуткое желание спуститься, посмотреть: какой он? Но всегда вдруг такая дремота нападает, лежу, всё слышу, а встать нет сил. Кто его видел, говорят, что он без головы. А как же он тогда стонет? Голос высокий, совсем молодой... Ты что, не веришь? А в инопланетян? Да-да, с зелеными рожками.

Ангел Ангелина... Она улыбалась и пряталась за спадающие волосы. Макс никак не мог заставить себя протянуть к ней руку. Её красота упруго лучилась, и он, — он! — такой многоопытный герой, никак не мог преодолеть эту упругость.

Ангел Ангелина... На шампанское во «взрослом» кафе он всё-таки уговорил, и поэтому на «Чёрного монаха» они не пошли. А потом, когда до автобуса было ещё минут двадцать, они просто сидели на лавочке под выстриженным кустом дикой розы, достаточно понимая, что прикасаться даже плечами, даже случайно, ещё нельзя, ещё слишком рано и будет грубо, недостойно грубо! Но запас его весёлости иссяк. Что еще? Листья каштанов совсем как из жести. Что же еще? Если тема не появится сама и немедленно, то он начнёт читать свои косолапые вирши. Рано, ох как ещё рано. Всё рано... А ладони уже начали потеть.

Ангел-Ангелина... Что же ещё? Неведомо откуда залетевший в город шмель хозяйски оглядывал увядающий пурпурный цветок. Про отца? Мать? Что тут рассказывать, слишком простые люди, а над братом они уже посмеялись. А, кстати, кто у неё родители? Геля вздрогнула, ударила в ответ косящим глазом и, наклонившись, укрылась в черном шатре волос. Что-то не то?

— Они умерли.

Вот идио-от!!

С каждым вечером Макс пробегал мимо геодезической пирамиды всё дальше и дальше. На дороге не было километража, и он добавлял по две горки. Полезное дело холмы, хорошо укрепляют голеностоп. Ахиллы первое время ныли страшенно, но теперь стопы больше не хлюпали при спуске, не сходили с носка на подъемах. Хорошее дело горки.

Сегодня он решил выдать по-полной и на скорость, и на дальность. Конечно, каждый раз пробегая «то» место, Макс теперь шепотом читал три раза «Отче наш» и три раза «Богородице Дево, радуйся». И пока сбоек в давлении не было. Марго объясняла природу подобных видений пережимом кровеносных сосудов и удушьем клеток головного

мозга. У летчиков или водолазов иной раз начинаются такие глюки, как у токсикоманов. А потом вдруг предложила в качестве рецепта молитвы. На полном серьезе. Как у неё самой в голове-то укладывается? И токсикоманы, и «Богородица»? Впрочем, наверное, так же, как у дяди Кости Коктебель и денежки. А у мирного-премирного Василича — припрятанная груша. Мир полон парадоксов. Пора привыкнуть к послешкольной программе. Поэтому Макс и читал молитвы. На два вдоха через нос и выдох ртом. Луны вторую ночь не было, и безнадзорные звезды распоясались. Млечный путь, пролежавший поперек его дороги, казался шершавой мраморной плитой, по которой неисчислимое количество земных лет и через неисчисляемые даже в непонятных парсеках расстояния катились и катились колесницы Фотонов-Фазтонов. Действительно, небесная твердь. Никакой не поэтический образ — вот она — нависшая реальность.

Городская свалка дала о себе знать потянувшимся из-за очередной горы тяжёлым запахом горелых пищевых отходов, дурно копировавших шашлычную и рыбную копильню одновременно. Макс всё замедляющимся шагом поднялся на вершину. Тут стоял единственный километровый столб с белой на синем цифрой «13». А внизу бескрайне разворачивалась живая босховская панорама человеческого бытия. Расползающееся в никуда туманно-дымное поле конечного итога всех потуг человеческой цивилизации подсвечивалось редкими помаргивающими очажками холодно-бурого пламени, а бесчисленные бугры и кучи разнообразных — и единообразных одновременно — отбросов, до неразлично-чёрного горизонта заполняя своей слежавшейся и слипшейся мерзостью несколько десятков гектар, буквально шевелились. Несмотря на ночь, было видно, как на фоне жирно коптящих кострищ там и сям бродили человеческие силуэты, длинными клюками тормозившие нечто и складывающие это нечто в заплечные мешки. Опушенные лица. Сгорбленные спины, мешки. Сколько их тут? По крайней мере, около дюжины силуэтов медленно кружили прямо под ним, метрах в двухстах. А там, где не было людей, жалобно или зло покрикивая, выискивали свой интерес тысячи бессонных галок и ворон, вспугиваемых налетающими на их удачные находки стаями безмолвных крыс. Чёрные силуэты, чёрные птицы. Жадные крысы. Тёмные, багровые блики пламени... Зловонная мутно-сизая дымка, тяжело змеящаяся меж вываленных грузовиками выбросов города...

И всё в этой же роскошной ночи, под так близко нависшими звёздами.

Раз-два, три-и. Раз-два, три-и. Окончательно выгнать из лёгких и выхаркать из горла запах и привкус гари удалось не скоро. Зачем он выскочил наверх? Добежал бы до столбика и назад. Хорошо, что не стошнило. И в то же время хорошо, что сегодня он пошёл на эти почти двадцать шесть километров. Подъём, спуск, затяжной поворот. Раз-два, три-и. Раз-два, три-и. Хорошо. Всё хорошо. Даже то, что Геля категорически просила больше её не провожать. «И так все говорят». — «Что говорят? Кто?» — «Все. Соседи». — «Все что говорят?» — «Ты всё равно уедешь». — «Почему?» — «Ну, армия... И ты не молдаван». Макс истоптал укромные места вокруг её ворот. Причём каждый вечер за ним увязывался Вахтёр. Просто молча хромал позади и не реагировал на уговоры и угрозы. А потом и вообще уже его там встречал. Макс кружил, кружил: может, у неё кто-то другой?.. Но никакого другого не было. Действительно, калитка закрывалась на засов. Свет выключался. И всё. Всё...

Что же он сделал не так? Просто на следующее утро после поездки в Кишинёв подошел к ней на кухне и прошептал, вернее, прохрипел после бессонной ночи: «Я тебя люблю». Геля вскинулась, закрыв лицо полуразвернутой к нему ладошкой — как от удара. «Я тебя люблю. Я больше без тебя жить не смогу». Она отвернулась: «Не нужно. Нам этого не нужно». Макс уже шагнул, чтобы, коснувшись приподнятых худеньких плечиков, развернуть её к себе. Уже шагнул... И тут вошли голодные, говорливые работяги: «Что, молодые, воркуете?»

Раз-два, три-и. Раз-два, три-и.

Заяц пролетел через дорогу почти в том же самом месте. Но поляна-то со знаком позади! И всё равно сквозь майку страх мгновенно погладил по спине. Макс добавил ходу и терпел, изо всех сил терпел, чтобы только не оглянуться. Но ужас плотно завис над ним, холодно дыша промеж лопаток, дуя в темя, насмешливо шевеля кончики взмокших волос. Ужас шепотом в самое ухо уговаривал оглянуться. Но Макс терпел, шурясь почти до слепоты. И когда прямо в лоб влипла летучая мышь, он даже не сразу понял, что это. Просто отмахнулся от чего-то легкого и плюшевого. И только когда вторая перепончатая тварь уцепилась своими коготками в затылок и, чуть слышно пища, стала сползать на шею, он вспомнил! Разом вспомнил и про водителя, и про ту старуху. И про то, что «зря его сюда привез». Почему зря?! Для кого-чего зря? Макс, быстро размахивая руками над головой, молотил ногами как спринтер, плюя на то, что ещё оставалось больше двух километров. Хватит ли сил? — плевать, у него стимул...

Атак вдогонку было ещё пять или шесть. Мыши упорно пытались вцепиться в выстриженную голову. А потом так же вдруг отстали. Какая все же это мерзость! Рожицы как у чертей. И вдобавок они бедных светлячков едят.

На последнем подъёме Макс немного поуспокоился и сразу ощутил усталость. Ноги мигом затяжелели и загорелись. Конечно, ничего себе выдал бросочек. Вон оно, село. И родная колокольня. Можно передохнуть. Придерживая сердце, он смотрел, как туман из низины быстро поднимался ему навстречу, по пути размывая и поглощая кубики домов и шарики деревьев. Слоистый, как сигаретный дым, туман упорно вздувался неведомой нутряной силой, чтобы, достигнув только ему известного предела, обессиленно сползти в сторону крохотной речушки, затаившись над оврагом в терпеливом ожидании утра. Чтобы оттуда, через три-четыре часа, подпитываясь теперь уже солнечной энергией, вознестись в небо безобидным облачком. Днём-то — солнечная, а ночью? Какая сила ночью тянула эту взвешенную мельчайшими каплями холодную влагу сюда вверх? И зачем?.. А, это же лунное притяжение...

Огней по селу оставалось немного, да и то уличные. В кубиках все спали. Только из одной, метрах в пятистах от Макса, несоразмерно широкой и высокой трубы вырывался странно не сгибающийся вслед ветерку столб чёрного дыма. Они там, что, резину зажгли? Столб всё рос, становясь гуще, плотнее, пока из трубы не полетели искры. И на белесом фоне разлившегося вдаль серебристо-сероватого городского свечения Макс совершенно чётко увидел, как из трубы вместе с дымом вылетает чёрный ком. Мгновенно развернувшись, ком превратился в старуху, крепко державшуюся за рукоять зажатого промеж ног помела. Старуха бесшумно пронеслась над крайними усадьбами и исчезла за лесополосой орешника. Оттуда сразу же раздался удаляющийся крик ночной птицы.

И Макс тоже сразу же вспомнил, что нужно бы помолиться.

Константин Павлович как мог нежно и тактично, и посему совершенно безрезультатно, «тянул за язык» замкнувшегося племянника. Про безответную любовь им всем и без лупы было видно, но тут ещё приключилось нечто особенное, встревожившее их взрослые и иной раз уж слишком многоопытные сердца. От парня просто на физическом уровне исходила безумная, холодная тоска. Даже пёс, всегда внимательно следовавший за кормящим его Максом, не подходил к нему в последние дни и даже ни разу не отмахнул хвостом на наполненную миску. А собака симптом верный.

Константин Павлович пригласил в советчики Марго, они просчитали варианты и сошлись: колдовство. Что-то где-то он хватанул. А хватануть было где и чего с избытком. Вечная колония сильных соседей и вечная окраина римских, персидских, турецких, русских империй, Молдова на протяжении своей мучительной двухтысячелетней истории нарабатала способ выживания через религиозное и интеллектуальное невзросление. Сколько ж веков этот народ казнили за малейшее собственномыслие и самосознание? Каждый раз новые завоеватели буквально вырезали все сколько-нибудь личностно

заметное и яркое, оставляя только низко склоненные головы, и многовековая селекция в конце концов выбила отсюда самый смысл творчества, не позволяя вызревать своей оригинальной культуре. Духовность выродилась в ритуализм, а фольклор заглушил искусство. Произошел непреодолимый разрыв между то и дело рождающимися отдельными гениями молитвы, живописи, музыки и литературы и общей народной неразвитостью. В принципе, все прославившие свою страну личности состоялись либо в русской, либо в западноевропейской культурных традициях. Выпестованная насилием нация теперь уже сама, без принуждения, отрекалась от собственных великих детей. Хотя и гордилась их именами, но как-то отстраненно, как ушедшими и не вернувшимися, не желая вмещать в свою удобно приниженную жизнь тех, кто мог бы вызвать гнев очередных хозяев.

А уж бытовое колдовство процветало на каждом шагу. С самого утра опытные старожилы и предупрежденные новички только через крестное знамение разматывали или срывали разноцветные нитки и шнурки, надвязанные неизвестно когда и кем на рукояти дверей веранды, мастерских, туалетов и складов. В «приносе» им с овощами и фруктами обязательно вкладывались восковые катушки с волосками, а самым «веселым» случаем стало обрызгивание по весне их кухни кровью только что зарезанной черной — это определили по найденным перьям — курицы. Слишком смелая художница из Питера, смывшая «эту глупость» без молитвы, на следующий же день начала кашлять, и кашляла так недели две до собственной крови, пока, отправленная домой, не сошла с поезда на своем Московском вокзале. Особенную опасность представляли пирожки. Чего только в них не запекали! Притом все это — от ниточек и волосков до иголочек и черных куриц — «делали» свои же прихожане, улыбавшиеся и восторгавшиеся приезжими русскими реставраторами.

— А помните, Костя, как меня в первый, ещё ознакомительный приезд подселили к старухе-цыганке?

В разговор Марго и Константина Павловича вмешался выпавший из бурь и боев советского и антисоветского радиоэфира Владимир Васильевич:

— Ну, той-то! Марго, только представьте: у одинокой старухи живут — чёрный пудель, чёрная кошка, прямо на кухне в клетках несколько чёрных куриц и еще сова на чердаке. Зато из икон — только в прихожей какая-то вырезка с бумажной католической мадонной. Мне это все с самого порога не понравилось. Да ещё и сама бабка: больно чернявая, даже по местным меркам. Но что делать? Староста привел, сдал. На всякий случай я сразу заперся в отведенной мне комнате. Помолился, покрестил все четыре стороны и кровать, и лёг. Свет погасил и вдруг сразу слышу, как к дверям подходит хозяйка и начинает с той стороны что-то по-своему бубнить. Я не поленился, встал и распахнул дверь. Никого! Я опять закрылся, лёг. Только свет погасил, слышу: идёт. Встала и бубнит. Да зло так! Я уже прыжком к двери, дергаю — опять никого! Ну ладно, думаю, поборемся. Лег и Иисусову молитву читаю. Она подходит, а я громче. Она в голос, и я в голос. А потом как дал «Да воскреснет Бог!» — с той стороны аж топот и вопли понеслись. Все ничего, но только-только придремал, как уж рассвело, пора на объект. Пока по чердаку, по подвалу храма полазили, трещины посмотрели, утраты, — понемногу очухался, но все равно голова от недосыпу чугунная. Всё, вроде, понимаю, но как бы с задержкой. Как Константин за меня перед районной комиссией отдувался, не помню. Закончили переговоры к вечеру, пора по домам. И тут меня от страха даже в жар кинуло. Дошёл до ворот, прохожу как через строй: чёрный пудель, чёрная кошка. Чёрная старуха. Еще, стерва, беззубо лыбится и вина предлагает. Я «нет-нет», и вроде как спать. Заперся и давай постель перебирать. Так ведь восемь иголок, в подушку и матрас воткнувших, нашел! Ага, думаю, мы вас вашим же методом тоже умоем. Зажег спичку и давай их прокалывать. А на хозяйской половине как запрыгают, как загремят! Якобы с плиты кастрюлю перевернула. И ошпарилась. Ну-ну, лёг довольный и заснул. На второй день с местным архитектором все в храме перемерили, просадки фундамента определили и, найдя общий язык, маленько

вина пригубили. Притопал я на постой совсем по темноте. А над воротами сова так и кружит, так и кружит. Знаете, когда она из-за спины вдруг в лицо заглядывает? Но пьяному же море по колено, я собаке показал кукиш, кошке язык и бахнулся спать. Вдруг ночью вроде как полная луна озарила комнатку — и светло, и не ясно. Я глаза приоткрыл и вижу, как прямо сквозь дверь входит старуха и бесшумно крадется ко мне, протягивая руки. Что там волосы! Кожа дыбом встала — весь пупырчатый, как баскетбольный мяч! Как заору: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази...», а дальше — ну ни одного слова вспомнить не могу. Полная пустота. А старуха ближе, ближе, и руки уже почти надо мной. И тут я крестик схватил, заслонился им и... проснулся. Никого рядом нет. Ну, ладно, почудилось. Полежал, и опять стал придремывать. И только-только сон привалился, как сквозь дверь опять эта ведьма входит! И вновь руки тянет. Я сразу за крестик. Она пропала. Но и сон тоже. Мокрый весь, температура точно за тридцать восемь. От страха-то. Сажу на кровати, спиной к стенке, глаза на дверь пялю и жду. А луна по комнате сквозь ветви сада так и мечется. По полу, по стенам. Видно, ветер поднялся, груши качает. Жду, терплю, а сон опять крадется. Я — молиться. То вслух, то про себя. Но веры-то мало, и, на всякий случай, возле себя топорик положил. Небольшой такой, туристический. Таким макаром почти до самого утра и протерпел. А утром все же отключился. И, наверно от этой самой температуры, в какой-то момент поблазилось, что опять старуха меня домогается. Я и метнул топор! Слава Богу, дверь заперта была, не сразу открылась, когда Константин её стал дергать.

— Да, действительно, мы ждали, ждали. Уже обед, а его все нет. И вдруг староста заволновался, начал что-то крутить. И раскололся, что это его промах. Побежали выручать. А топор он тогда хорошо метнул, насквозь доску прошил, кое-как вытянули.

— Тимофтий потом уже и мне покался. Это, оказывается, он так меня сразу невзлюбил, что нарочно к ведьме ночевать отправил. Для науки. Ничего, сейчас примирились.

— А где этот дом? На окраине?

— Да, да, почти на краю. Там еще такая огромная железная труба, как у парохода.

Владимир опять углубился в ловлю «двух столиц» Аксенова, а Константин Павлович и Маргарита стали искать подходы к опасно замкнувшемуся молодому поколению.

— Я вроде её-то понимаю: приехал герой-красавчик, уехал. Что ему эта деревня на косогоре? И, опять же, не город — тут ведь даже и после самых пустых сплетен замуж не возьмут. Или, по крайней мере, не скоро. Но, с другой стороны, не похоже, чтобы Ангелина была столь рассудочна. Милая она девчушка. И очень даже тонко чувствующая. Не такая много вычисляет. А парень, видно же, как искренен.

— Я за него сам бы сватать пошел. Может, их обручить? Я за него ручатель, вы за нее. А потом, как подрастут, так и поженим?

— Красиво. Только мы-то здесь при чем? Она Тимофтия Романовича племянница. И опекают ее родственники. Может, они что ей и наговаривают?.. Нет, она самостоятельна. А вот Макса надо раскупорить, иначе он вот-вот взорвется. Нужно придумать отдушину.

— И я, и я, и я того же мнения. Наверно, хватит ему известку перетирать. Он же рисовать любит, худшколу закончил. Но что? Дадим ему икону раскрыть?

— Конечно! Вон «Илию с вороном». Я могу с ним посидеть.

— Отлично! Марго, только не учите его жить. Я понимаю, что в этом возрасте юноши больше слушают женщин, но...

— Но! Много вы понимаете!

Как увязать то, что она, так легко согласившись на то первое провожание и на поездку в Кишинев, вдруг всё и обрезала? Ведь тогда ей хотя бы просто нравилась его болтовня, его рассказы об Одессе, Киеве, Москве. О дяде Косте и Сан Саныче. Нравились. Как нравились бы на её месте любой другой, без всяких там претензий и планов. А он и не

строил никаких планов. Он просто любовался её совершенно детским, заразительным смехом. И этими быстрыми вспышками огромных, почти чёрных глаз. Он и хотел-то поддержать, только лишь и дальше протягивать эту необъяснимую, шелковисто тонкую нить взаимного доверия. Нить, которая возникает и выплетается из одинакового дыхания и равнотемпного сердцебиения, и первые мгновения, как августовская паутинка, существует только для двух самых чутких душ. Точно как паутинка чуть-чуть неярко поблескивая на косом вечернем солнце протяжной серебристой искрой. И лишь затем, если нет обиды или испуга, она растет из своей тонкости, растет, тянется, и вот уже нежно, но крепко обволакивает тех двоих, что бьются сердцами рядом и унисонно, что дышат в лад, словно коконом обнимая и укрывая от окружающего... Коконом, в котором личинки взрослеют для вылета. Для преображения... Нет, нет! дело было вовсе не в его дурацком вопросе, не в последовавших неловких выкручиваниях, а в... чём?

В автобусе они почти всю дорогу молчали, глядя, как за стеклом буйная южная зелень празднует начало плодоношения. Яблони и груши в садах тяжело прогибались к земле, виноградные плети побурели, каштановые кроны рябили чёрными желудями. Зато понизу всюду густыми импрессионистскими россыпями золотились, лимонились, алели, крапачились, ультрамаринились, пурпурились и лиловели георгины, гладиолусы, циннии и астры. А ведь действительно через неделю сентябрь. Где-нибудь в центральной России или в Сибири уже и настоящая осень подступает. Как-то он оказался на Урале в сентябре, и та поездка осталось в памяти сказкой: невысокие, но крутые горы на фоне серо-голубого холодного неба переливались сплошным золотом лиственниц и лоснились неповторяющимися оттенками охры берез и ив, изредка перебиваемыми киноварью осин и изумрудом елей. Да, да, тогда в Магнитогорске, на соревнованиях. Потрясающая красота просторов. Здесь такого нет. И не будет. Здесь другая страна. И народ другой... Ну конечно!! Болван! Это ж он про молдаван пару раз проехался. Насчет их умственных способностей. Но ведь он как-то и не воспринимал её «смуглянкой». Она же не могла принадлежать ни этой земле, ни какой иной — она же Ангел!

На коричнево-чёрной доске рисунок просматривался только под углом. Икона была написана на двух склеенных досках, от времени слегка разошедшихся и державшихся вместе за счет паволоки. По месту расхождения, прямо по изображению, прошла трещина, и часть левкаса вспучилась, но без значительных утрат. И понизу старая олифа бородавчато вспучилась, но держалась крепко. Икону первым делом чуть влажной фланелькой освободили от пыли и срезали капли свечного воска. Липовые доски, матовая маслянистость изнаночной стороны которых прорезалась пазами утеранных шпонок, по всему полю были часто изъедены древоточцами, что явно указывало их южное происхождение... Древоточцы вообще местный бич, хруст перемалываемой их челюстями древесины слышался отовсюду: хрустели настилы лесов в храме, хрустела опалубка бетонной заливки, стены веранды, даже лавка, на которой сидели обедающие, как, впрочем, и сам стол. Неленивыми личинками пожиралось любое дерево моложе десяти лет... Внизу лицевой стороны живописный слой вместе с грунтом в двух местах был прожжен свечой до углей. Опять же в неответственных местах. И только лик самого пророка Илии был наполовину выщерблен от ударов чем-то острым, глубоко проникавшим в глубь дерева. Следы чьего-то кощунства: били ли, метали ли ножом в святыню...

После того как заново склеенные меж собой доски окончательно и навсегда высохли в самодельных тисках, приступили к проклейке основы. Марго с вечера распустила в стакане зерна костного клея, а с утра разбавила густую мутную массу «киселя» до почти «компота», затем потопила раствор в клееварке, проверяя вязкость щелчками разлипающих подушечек пальцев. Пролив поверхность кистью до её насыщения жидким клеем, накладывала квадратики папиросной бумаги, через толстый ватман проглаживая теплым утюгом. На следующий день, после того как бумага потеряла прозрачность, мокрой ваткой смыла её с заодно прилипшей грязью. Потом икону сушили.

Укрепление живописного слоя и укладку левкаса признали удовлетворительным, и «Сейчас самое ответственное — расчистка».

Расчистка — это как проворачивание ключа в замке двери, которой десятилетиями не пользовались. Замок противится, тяжелая дверь с припекшимися ржавчиной петлями поддается туго, через усилие открывая для любопытных взоров то... то, что там... Марго прикладывала развернутый тампон в углу доски, прижимала его стеклышком. «А сколько ждать?» — «А сколько надо. Тут ведь только опыт реставратора подсказывает, иначе через каждые полминуты проверяй». Лицо восточной принцессы становится мечтательным: «Сегодня ты, Макс, нанюхаешься раствора, и сны будут — как у шамана. Или сивиллы». Сняв стекло и приподняв ватку, кончиком скальпеля подскребла олифу. Та ещё не совсем готова, не достаточно размякла, чтобы отцепиться от краски. Снова ожидание. Ага, а вот теперь пора!..

Квадратик за квадратиком, и той же ваткой с раствором на лучинке, скальпелем или спичкой, они двигались сверху вниз и слева направо. Двигались — ибо и Макс тоже расчищал периферию! Почти самостоятельно! На оставленном раскрытом поле льняным маслом нейтрализуя действие раствора, они прекращали химические процессы, заодно растворяя остатки поздних слоёв олифы, проникшие в кракелюр. И икона раскрывалась, являя рисунок, цвет и свет.

И какой же то был тонкий рисунок! По абрису средневеково иконописный, но с заполнением уже почти академическим, без особых анатомических искажений — прекрасная «девятнашка» шестидесятых, отличная, крепкая, возможно старообрядческой работы. Оливковая санкирь полей с чудной голубой опушкой, горки с травками великолепны, пророк вписан в чёткий треугольник. Ворон, принесший ему хлеб в пустыню, с огромным, почему-то красным клювом. Нимб и ассис одежды — творёное золото. К сожалению, оно прикипело к олифе, и утраты оказались неизбежны. И тексты тоже написаны золотом. Буквочки тонюсенькие. Чем же это делано? Иглой? Кисточкой такое невозможно. «Есть такой куличок — вальдшнеп. У него на кончике крыльев по одному такому тоненькому перышку растёт. Оно краску держит как рапидограф. Но нынче их почти всех выбили». А кто первым догадался это перышко в краску окунуть? Греки или уже русские? Кто? Когда?..

Расчёт старших товарищей оказался правым, и к вечеру Макс внутри себя уже ничего, кроме озноба, да и то от творческого рабочего перевозбуждения, не чувствовал. Никаких томлений. Но, зато, как он, оказывается, за этот месяц попривык к своей колокольне. Полное расслабление. Тихо тут, наверху, хорошо, чисто. И наплевать сверху на всех нижеходящих. Кое-как стянув рубаху, он перешагнул через брюки и упал на живот. Кровать податливо колыхнулась, и он поплыл в красновато-коричневую полупрозрачную муть. Спать. Спать...

...Он бил кулаками, пинал и кричал, кричал, но закрывшиеся в храме не отвечали. Да что ж это?! Да разве ж такое можно? Почему они не открывают? Почему молчат? Они же свои, в Бога верят, православные же! И он бил, бил уже кровоточащими кулаками, пока не почуял, как за спиной встали «чужие». Не оглядываясь, он знал, наверное знал, что это подошли и стали вплотную те три красноармейца и комиссар. Комиссар, в которого он истрелял из «нагана» весь барабан и ни разу не попал. Не попал оттого, что перед этим уронил, и не было времени поднять, свои студенческие очки. И вот теперь убьют его. Прихватив под мышки, красноармейцы оттянули его от так и не открывшихся церковных дверей, а маленький, чернявый, с козлиной бородкой стал пинать его в грудь английским, до колен шнурованным желтым ботинком. Он ясно, до малейших подробностей запомнил этот желтый ботинок с никелированными рядами крючков, так как не мог прикрыть вывернутыми руками лицо, и согласно терпел все удары. Потом его почти волоком потащили вдоль стены храма, по растоптанной жидкой грязи, на которую плавно ложились

белые пушистые снежинки. И таяли, таяли... Он вдруг вывернулся и снова громко закричал, извиваясь и отлягиваясь. И тогда один из красноармейцев, передав карабин другому, вынул шашку и стал тыкать ему в ноги. «Да кончайте его тут!» — Слова комиссара не сразу дошли до сознания, и, наверно, от этого он повиновался вдруг раздавшемуся визгу: «На колени, свинья!» Сложив руки крестом на груди, он опять, не видя, только почуял, как сзади, втянув воздух, красноармеец завел себе за спину синеватый клинок. Но зато увидел — близко-близко, в прямо перед лицом подрагивающей ледяной густотой лужице — широкий, с подсидом, рубящий мах...

Фу!.. Приснится же такое!

После новым, заведённым из мятного зубного порошка левкасом на три слоя с просушкой восполняли выбоины. Отшлифовав, протягивали вставки яйцом. То есть, взвесью желтка и белого вина. Протерев чесночным зубцом всю поверхность, приступили к тонированию. Когда белые заплатки ушли, икона буквально преобразилась. Марго очень точно подписала утраты на лице, и оживший Илия задумчиво уставился на небо, вслушиваясь в звучащий в нём голос. Макс же, которому доверили небо и «горку», никак не мог попасть в тональность: темпера, высыхая, сильно светлела, а потом, при укладывании волчьим зубом, снова темнела, но совсем не так, как задумывалось. Он попытался «подновить» поле вокруг, чтобы была незаметна его неудача, но получил неожиданно строгий выговор: «Только в пределах утрат! Уважай автора». Как линейкой по пальцам. Кто бы ожидал такое от супертерпеливой Маргариты Бахытовны?

— Макс, правило первое и последнее: никогда не хами в своей работе. Хамство — смерть и для художника, и для ремесленника.

— А что такое хамство?

— Хамство — не «что», а «как». Это не существительное и не существующее. Отсюда хам — это не «кто», а «никто». Пустота, босховская оболочка.

Вдруг она сняла очки, зачем-то протёрла и так всегда идеально чистые стекла. И немного испуганно оглянулась в своё прошлое:

— А в искусстве хам — это, как правило, выслужившийся перед органами бездарь.

Сушили. Олифили, разгоняя лак и снимая лишнее отчего-то вдруг горячими ладонями. Тоже кайф для носа. Но это был уже совсем другой запах. Всё. После местного худсовета отдали на освящение отцу Александру.

Отец Александр восседал на старинном, с высокой прямой спинкой, стуле-троне на вершине стола. По правую руку — староста Тимофтий Романович, по левую — белесая, дородная матушка Римма. Остальные женщины расположились в противоположном конце пиршества. Составной стол был никак не менее двадцати метров. При рассаживании с обеих сторон соблюдалась строжайшая иерархия: ближе к священнику и старосте сидели члены церковной двадцатки и старейшины села, далее расположилось местное начальство — то, которое не партийное. Потом с одной стороны реставраторы, а напротив них самые зажиточные крестьяне, заведующие и продавцы магазинов. Далее шли просто уважаемые прихожане и женщины. Кстати, только замужние и все в платочках. Молодежи не было вообще.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы — это местный престольный праздник. Готовиться к нему начали за неделю. В храме прошел «субботник»: вымыли окна, вытрясли ковры и дорожки, отчистили подсвечники. Мечущий искры дядя Костя едва успевал вырывать у невесть откуда набежавших благочестивых старушек иконы, которые те из самых лучших побуждений пытались либо «трохи смазать маслом», либо «чуточки потереть "пермоксолью"». Мужчины привели в порядок двор, перебрали вдоль забора штабеля с досками и брусом и покрасили крыльцо домика священника. А староста с утра до вечера сновал около своего подземного склада-холодильника. Особое внимание уделялось качеству приносимого со дворов вина. Отбраковка велась самая строгая, и

поэтому по вечерам Тимофтий Романович немного покачивался и радостно улыбался от уха до уха: что поделывать, пост, закусить-то толком нечем.

На праздничной службе народу было не протолкнуться. Кроме своих, плечом к плечу стояло много приезжих из ближних сел и даже из Кишинёва. Мужчины по правую сторону — напротив Христа, женщины строго по левую — напротив Богородицы. Многие, конечно, надеялись, что прибудет владыка, но митрополита вчера срочно вызвали в Москву. Пространство храма, приплюснутое лесами с настилами, по периметру щедро украсили цветами, отдраенные до зеркального блеска подсвечники плотно уставлены свечами, большой стол для приноса около поминального Распятия завален хлебом, яблоками, огурцами, помидорами, конфетами и баночками меда. К ножкам привязаны две живые курицы — после поста их съедят, но пока они испуганно забились поглубже и, подрагивая из темноты красными бородками, серьёзно внимали расширенному на сегодня хору. А хор, усиленный городскими певчими, был действительно хорош. Немного странно, когда через греческие и русские мотивы вдруг прорывалось нечто мелодически явно турецкое. Но что? Бог весть. Служба шла вся на молдавском, только специально для реставраторов, стоявших около правого клироса, отец Александр в знак особого уважения провозгласил Великую ектенью по-славянски.

Сладкая смесь щедро подбрасываемого в кадильницу ладана, аромат вянущих роз и свежих яблок вытеснили запахи скипидара и камфары. Лица у всех торжественные, терпеливо значительные. Праздничная одежда — забавное смешение национального с самым модным. Даже Тимофтий возвышался над своей конторкой со свечами и записками в расшитой вручную карпатской рубашке с накрахмаленным стоячим воротничком и в блескучем, ярко-синем румынском пиджаке.

После крестоцелования народ расходиться не спешил. Толпились по всему двору, перемешиваясь и сбиваясь в кружки. Смех, крики, взмахи руками. Кто-то из съехавшихся давно — с Пасхи или Духова дня — не виделся с родней или друзьями, новостей накопилось коробами, кто-то просто жаждал посмотреть, кого староста нынче оставит на праздничный обед — местное утверждение социальной значимости. Тут, на «воздухе», женщины помоложе приспустили платки на плечи, а мужчины надели свои высокие каракулевые «пирожки». И всюду взлетало их непереводимое «мэй, мэй, мэй». С крыльца Макс увидел — или ему почудилось? — мелькнувшую в праздничной толпе старуху-цыганку. А эта ведьма чего тут делает? Он захотел проследить, рванулся в её сторону, но, покружив, покружив, заглядывая под все чёрные платки, сам вскоре под давлением встречных пытливых глаз отступил на «свою» веранду.

Обед начался общей молитвой. Пропев завершающее «аминь» — романско-римское «омен», никто не сел, пока отец Александр не произнес первый длиннющий непонятный тост. Опять «омен». Выпили не чокаясь. У Макса, со вчерашнего вечера ничего не евшего, просто глаза разбегались: хотя это последний постный день, да и пятница, так что в честь праздника на столе вместо мяса была только рыба, но остальное... Ммм... Голубцы, фаршированные перцы и помидоры, вареники со сливами и вишней, плов с черносливом и изюмом, печёные баклажаны, спаржа, салаты простые и смешанные, винегреты, солёные, перчёные и сладкие заливные, густые компоты и резаные мамалыжные кисели, плоские широкие пироги с капустой, крыжовником, грушами, яблоками и дыней. Просто резаные овощи, и фрукты, залитые медом. Халва, кукуруза и орехи. И ещё раз под теми же словами совершенно другие блюда. Эх, кабы не мухи!

Сидели все очень чинно, по очереди от вершины стола вставая и произнося короткие речи. Дородный, златозубый молдаванин, сидевший напротив, переводил для русских ещё короче: «Благодарит Господа Бога, попа Александра и Тимофтия». Все выпивали маленькими, наверно еще дореволюционными, толстенными зеленоватыми стаканчиками отобранное накануне терпкое, почти чёрное вино и неспешно закусывали. Оживление пошло где-то после двадцатого выступающего. Начались разговоры местного

значения, кто-то где-то начал шутить. Даже женщины на своем конце тоже зашушукали. Теперь можно было поесть не стесняясь.

— Обрати внимание, — отвалившись, Владимир Васильевич выбирал из бороды крошки, — как у молдаван хороши только те блюда, что не требуют воды для готовки. Только жареное, тушёное и печёное. Земля формирует вкусы: здесь борщиков не варят. И, к сожалению, посуду тоже, как правило, не моют. Как? А так: чуток помочат тарелку или кружку в общем тазике и вытирают насухо подъюбником.

Тосты кончились, а еды ещё оставалось на один праздник. Но, начиная с низа стола, все, отдуваясь, поочередно грузно вставали, подходили под благословение настоятеля, а потом ещё долго, от души полюбовно прощаясь, обнимались у ворот. По забавному местному обычаю мужчины, в знак взаимоуважения, целовали друг другу руки. В какой-то момент Тимофтий Романович вдруг поймал за рукав Макса, придавил плечи своими шершаво измозоленными ладонями и, почти уперевшись лоб в лоб, горячо зашептал:

— Максим, пожалей Гелю. Не ищи ты её, ей с тобой нельзя. Понимаешь, никак нельзя! Хороший ты парень, мэй, мэй, мэй.

И старик затрясся, по выглубившимся морщинкам быстро протекли мелкие мутные слезы.

Ангел Ангелина...

Полная луна из-за спины знакомо заливала под ноги короткую тень. Макс бежал мимо совсем уже до скрипучей буро-чёрной ржавчины высохшего подсолнечника. Понурые тяжелые головы на негнущихся шеях навсегда устали на свой последний закат и больше не реагировали на солнцеворот. Сколько их тут? От края и до края. И почему не скошены? Осыпаются ведь... А дыхание, если внимательно присмотреться — уже с паром. Середина сентября — это пока не осень по дневному-то теплу, но ночи чувствительно опрохладели. Кстати, это его первый сентябрь, когда не нужно в школу. Никуда не нужно. Народ весь разъехался, и они опять остались вчетвером. Вечера с чаепитиями вновь обрели сердечную неторопливость, когда под шинковку «глушаков» и приливы-отливы «Немецкой волны» взрослые за шахматами беззлобно щипали Карамзина в пользу Ключевского, а Макс грыз ногти над привезенным из Москвы толстенным самиздатским Папюсом. И практически не думал о Геле. На кухне они опять готовили и мыли посуду в очередь, а местные только приходили помогать рыть землю. Храм стоял не на самой вершине и от почти ежедневных мелких землетрясений постоянно чуть-чуть оползал по склону. При этом неравномерно: колокольня и алтарь отрывались от основного корпуса под давлением тяжелых глиняных языков. Поэтому было принято решение вырыть две траншеи выше и ниже храма и залить в землю выравнивающие давление оползневых языков бетонные, армированные бутом и старыми рельсами ленты. Заодно забетонировав и околохрамовые дорожки.

Вот так Макс и «познакомился» со своим беспокойным соседом.

Он шёл вслед за врезающимся в смесь слоистой глины, строительного бута и мощных корневых разбегов старых акаций бульдозером, лопатой отбрасывая вывернутые на поверхность комья и щебень. Дизельное тархтенье, взрываясь натужными сизыми выхлопами проталкивания ковша через загребаемые по ходу преграды, глушило всякую возможность вздохнуть о цветах и девушках. Хотя бы даже подумать, хотя бы о последних... Шагая за дергающейся, неторопливо клацающей гусеницами машиной, Макс сначала увидел перед собой полуоткрытые желтоватые кости ног, потом под его лопатой скрежетнул придавленный глиной и песком таз. Дальше шли развороченные бульдозером обломки ребер. Под мышкой скелета слева притоплен в песок череп. «Наверно, рядом ещё кто-то лежит». Но над ключицами оказалось пусто. Макс отстав от трактора, вернулся и ещё раз прошёл лопатой по скелету. Ноги, позвоночник, ключицы... Руки в локтях

откинута, под левым плечом — череп. Так... это же... его собственный?! Макс забарабанил черенком по заднему стеклу. Тракторист сбросил газ, высунулся в открытую дверцу. Потом и вовсе заглушил двигатель. Какая тишина! И небо светло-голубое. Покричали остальных. Кто бы мог быть захоронен вот так — буквально на каких-то полметра и прямо в церковной ограде?

Дядя Костя о чём-то долго толковал в сторонке с Тимофтием. Подошли с общим мнением: судя по цвету, кости здесь с гражданской. Красный ли, белый? Бог ведает. Но нужно собрать кости, перезахоронить на кладбище и отпеть. Ящик был небольшим, всё сложили просто кучкой, сверху поставили череп. Занесли в церковь. Приехавший на следующий день Отец Александр отслужил литию по рабу Божьему, «имя коего Сам знаешь», реставраторы отнесли останки на кладбище и закопали на краю, у дальнего забора. Владимир Васильевич водрузил крест из штaketника. Еще один рыжий холмик, еще один белый крест над отжатым землей на сторону, колючим, в мелких темно-красных сморщенных ягодах, уже оголившимся кустом шиповника. Всё, Царствие тебе Небесное, а на Земле вечная память. Красному ли, белому ли.

И вот с тех пор уже пять ночей в храме тихо.

...Подбегая к вершине с геодезической пирамидой, Макс начал — уже по привычке! — читать молитовку. Но ноги всё равно затяжелели, и горячечно заколотилось сердце. Что? Опять полнолуние? Ну, нет! Хватит! Надо с этим заканчивать. И он решительно повернул к орешнику. Проламываясь через проредевшую заросль, Макс всё больше злился на себя. Хватит же отступать. Хватит! Вот и тогда, если бы он не уступил, не подчинился её просьбе, все точно бы было по-другому. А теперь... теперь она уехала учиться. И всё. Всё. Где теперь её искать?.. Понятно, что оба эти свободных воскресенья он бродил по Кишиневу, как дурак заглядывая во все девичьи лица. И понятно, что без толку.

У самого лба метнулась бесшумная тень. Сова? Отпрянув, он замер на границе чёрного переплета орешника и залитой луной лысины поляны — там, метрах в ста, около бревенчатой пирамиды опять стояли две женские фигуры. Те же: одна старушечья, тяжело опирающаяся на палку, и молодая, совсем девчачья. Покрытые одинаковыми большими чёрными платками, они стояли друг перед другом, опутив головы. Всё точно так же, на том же самом месте, только без светлячков. Старуха, услышав треск его шагов, медленно подняла лицо и, не скручивая шеи, повернувшись всем телом, искала сверкнувшими издали глазами, но Макса не заметила и снова сгорбилась. Стоявшая же к нему спиной молодая даже не шелохнулась.

Сердце колотилось так, что выплескиваемая им кровь обжигала разом вспухшие губы. Кто? Кто это? Зачем они здесь?.. И зачем он здесь? Он — опять — здесь?.. Старуха, не приподнимая головы, подшагнула к молодой. Теперь они почти соприкасались лбами — и как? — как же Макс смог услышать, расслышать эти слова?! Вспоминая всё после, он сообразил, что и говорить-то они должны были на молдавском — на неизвестном ему языке!

— Ты забыла о нём?

— Да.

— Это хорошо. Очень хорошо. Теперь всё у нас пойдёт по-старому. Я снова буду учить тебя. Ты готова?

— Готова.

Старуха без видимых шагов и даже без покачиваний, словно оплыла по воздуху над самой травой вокруг девушки и встала за ее спиной. Так же плавно подняла над головой палку — это была метла.

— Возьми!

Девушка, дрогнув, распрямилась и обернулась.

— Геля! Ангелина-а!! — Макс кричал изо всех сил и изо всех сил пытался бежать к ней. Но воздух перед ним уплотнился до непроницаемости, упруго отталкивая колени и

плечи, отжимая грудь. Макс кричал и понимал, что через эту запрещающую упругость его голос не долетит, не успеет остановить Ангелину, и та коснется к нависшей над ней метлы.

— Ангелина! Ангел, мой Ангел, ты только не бери, только не прикасайся! — Как, каким чудом он смог дотянуться и онемевшими пальцами сжал свой нательный крестик? Но в мгновение воздух вновь стал лёгким и текучим, и, проваливаясь в его неожиданную податливость, Макс успел увидеть, что его крик долетел, дошёл до Гели.

С маху упав в колючую ломкую траву лицом, он до крови расцарапал щёку. Плевать! Плевать вот этой самой, забившей рот горькой трухой. И так — то на четвереньках Макс полз, то, пополам согнувшись, шел, то, качаясь, даже бежал к пирамиде.

— Ангелина! Ангел, мой ангел...

Старухи как не бывало. Как не было. И они стояли вдвоём, только вдвоём на голой вершине холма, вершине Земли, а зенитно-огромная, лучисто вибрирующая Луна тысячами выпускаемых стрел поражала бегущих вокруг неё небесных Зверей. И диктующий судьбы Зодиак блекл, умирал в этом её излучении, а вслед ему умирали и сами судьбы. Судеб больше не было. Ничего больше не было. Не было в небе. И никого на земле.

Только Макс и Ангелина.

Он держал её в объятиях и целовал в пробор, в лоб, глаза. Остро чешущийся травными склонами холм приподнялся над зыбью тумана и поплыл, круглым островом поплыл к притягивающей его полной луне.

Незаметно поднявшийся ветерок, закручивая подлунный остров, усиливался, по спирали подламывал сухие травы и, всё ускоряясь, сужался, сворачивался вихрем вокруг центра — вокруг Макса и Ангелины. Ветряные струйки спиралились, уплотняясь нитями, окутывали обнявшихся, сжимались, сжимались, пока не сошлись в непроглядный серебристо дышащий кокон.

...а свистящие флейты пустот надломленных травяных стеблей сливались с звонами струн-ветвей метавшегося вслед уплывающему острову заливаемого туманом орешника... ...и эхом откликались хоры чёрного космоса...

— Ты послушай, ты только внимательно выслушай. И ничего не говори. Хорошо, любимый? Ты обещаешь? — Геля смогла идти только часа через два.

Потихоньку, маленькими шажочками они приближались к селу, а за спинами уже зарозовело полнеба, и размытой золотистой линией вычерчивались вершины сиреневых холмов. Сильно пахло мелиссой. Макс левой рукой поддерживал Ангелину за спину, а правую держал впереди для опоры ее ладоням.

— Ты только слушай. Это не моя вина, и не вина родителей. Всё произошло много-много лет назад, еще до революции. Мой прадед, дед отца и дяди Тимофтия, был кузнецом. Его звали Прокопом. Это он отковал кресты для бисерики. И еще его узорчатая работа на её дверях. Рассказывают, он был очень сильным и красивым. Потом пришла революция, и в то время, когда Молдова в первый раз была румынской, из города Сороки к нам приехала и поселилась цыганка. Она купила домик на окраине и жила колдовством. Ты видел, у нас и сегодня всё так же: случись в семье какие нелады, то женщина идёт или к священнику, или к колдуну — без разницы. Это ей все равно: поп помолится или колдун сделает, и будет как надо. Это у нас всегда так было. Так вот, приезжая шатра, что по-молдавски значит — цыганка, как-то раз зашла в кузню и заказала прадеду выковать метлу. Чтобы та была как настоящая, но из железа — каждый прутик. И предложила за работу турецкий золотой динар. Прадед тогда собирался жениться и обрадовался хорошим деньгам. И даже не подумал спросить: зачем шатре такая метла.

Когда цыганка пришла за заказом, Прокоп всё же любопытствовал. Но та только посмеялась: «Это, — сказала она, — для нашей с тобой дочери». — «Какой ещё дочери?» — «А вот женись на мне, мы и родим». — «Так у меня есть невеста, и мы с ней

рожать будем». — «Тогда пусть твой сын на мне женится». — «С ума сошла?» — «Ну, не сын, так внук. Я подожду». — «Не бывать тому». И Прокоп бросил ей золотой назад, но тут-то цыганка сказала: «Ну, коли не женится и внук, так я его дочери эту метлу передам...» А потом началась война. Потом стал Советский Союз. В конце концов родилась я.

Старики говорят, что шатра эта то приезжала к нам в Кровохлеб, то пропадала на много лет. Все считают, что она не может умереть, пока то её заветное не исполнится.

Она уезжает и приезжает. И только её сова постоянно живет здесь. И, говорят, вся её сила в этой сове, ну и в чёрной собаке, и чёрных курицах...

Впрочем, это всё только рассказы, сказки. А я сама-то ничего никогда не помню. У меня же с четырнадцати лет лунатизм. Каждое полнолуние меня запирают, закрывают одеялом окна, караулят. Но все равно я иногда убегаю. И ничего не помню. И врачи не помогают. Что со мной происходит? Не знаю, ничего не помню. Не смеяся, но говорят, что такое у девушек после свадьбы проходит.

Они шли уже по её улице, и из-за заборов неслись звуки утренних сельских забот. Крики петухов, индюшачьи бормотания, лай и блянье. А ещё из-за каждого забора на них смотрели жадные до скандала глаза: «С русским всю ночь...» «Понятно, что за болезнь такая...»

Вахтёр вполз в калитку на передних лапах. Пока, мелко клацая зубами, пёс рывками добирался до веранды, по беспомощно волочащимся задним кровь скапывала и скапывала крупными красно-черными бусинами, оставляя в пыли грязные катушки. У крыльца он отчаянно завыл, упал и, перевернувшись на спину, забился в агонии. Макс растерянно водил руками в воздухе над ним и никак не мог заставить себя прикоснуться. Что? Что с ним?! Вахтер судорожно всхлипнул и затих. И тут до Макса дошло, что у пса не только перебиты лапы, но он жестоко кастрирован.

Макс бежал, тупо глядя на кровавые, иногда пропадавшие пятна, хотя и так знал, куда ему нужно. Знал, что сейчас вот за теми одичавшими вишнями будет её забор, синие железные ворота. И там наступит развязка. Всего, завязавшегося в это лето.

Калитка во двор, где жили Гелины родственники, была распахнута. Он впервые перешагнул за порог. Квадратный, неровно заасфальтированный дворик затенял реечный навес, заплетённый виноградом. В глубине, на ступеньках высокого крыльца сидело пять или шесть парней, в руках стаканы, посередине канистра. Красный квадрат переносного «Романтика» дребезжал про «мани, мани, мани-и». При появлении Макса лица всех сидящих разом выразили откровенное изумление: русский сам пришел? Мэй, мэй, мэй!

Сходиться было шагов по десяти. Макс успел пройти свою половину, пока с крыльца соскочил первый, лет двадцати пяти, совсем светлый, совсем русский, худощавый живчик, однако выкрикнувший что-то на молдавском. За ним, отставляя стаканы, поснимались с мест и остальные. Живчик не рассчитал скорости схождения, и его ноги продолжили двигаться вперед, в то время как голова, натолкнувшись верхними зубами на левый джеб, уже отлетела назад. Вторым на правый боковой подоспел высокий и очень мясистый малый, который, кажется, одно время работал у них землекопом. Опасно, конечно, так вкладываться на улице, незафиксированное запястье может вылететь, но тут обошлось. Двое так быстро упавших, из которых первый просто фонтанировал кровью из рассеченной до носа губы, остудили пыл атакующих. Они теперь расходились по широкому кругу, через дребезжание зарубежной эстрады кроя Макса смесью блатной латыни с блатными тюркизмами. Но, как говорил Сан Саныч, главное в таких обстоятельствах не застаиваться. Макс просто перескочил через три ступени на крыльцо, аккуратно выключил магнитофон и вошёл в темные сени.

Она сидела за круглым, покрытым большой белой скатертью столом и смотрела на него. Или сквозь него. Чёрные волосы на прямой пробор, тёмно-вишневый сарафан на тонюсеньких ляпочках, витая золотая цепочка с зодиакальным барашком. Из-за плотно зашторенных окон вдоль стен скопился густой лиловый полумрак, и только за её спиной в старой самодельной раме тускло серебрилось высокое, в человеческий рост, зеркало. Макс так и увидел от входа: она и над ней он сам. Пахло яблоками, и ещё откуда-то громко тикали старые настенные часы. Геля, положив вытянутые руки на белую скатерть, отрешенно смотрела на него, и Макс, с колен, взяв её ладони в свои, несильно сжал:

— Пойдём!

Геля всё так же, словно не узнавая, молча следила за ним равнодушным взглядом.

— Я за тобой. Ты слышишь? Ты меня слышишь?!

«Тик-так, тик-так. Кто друг? Кто враг?» — Часы шли намного медленнее сердца. А дальше в той дурацкой песенке пелось: «Тик-так, тик-так. Был друг — стал враг. Как — так?» А дальше шла какая-то неожиданно забавная концовка. Какая? В этот момент в зазеркалье проявилась ещё одна фигура. Кто? Это была Ангелинина тётка, младшая сестра Тимофтия Романовича.

— Не трогай нас, парень. Уходи сам.

— Геля, я пришел за тобой!

— Мэй, уходи! Пожалей нас и уходи.

— Геля!

— Нун трэбэ. Она никуда отсюда не пойдёт. Из армии вернулся её жених. Ты слышишь, парень? Её — жених — вернулся.

— Геля!! Это же я пришёл за тобой!

Она, кажется, наконец что-то расслышала, что-то поняла, мучительно сморщила лоб и чуть-чуть отрицательно качнула головой.

— Парень, ты и так опозорил её. Ты и так принес нам всем много горя. Но ее простили, мэй, и ты больше не мешай. Ей замуж надо. Уходи. Уходи через ту дверь, через сад — не нужно больше драк.

Макс отпустил Гелины пальцы, встал с колен:

— Мне... уйти?

Она ещё раз поморщилась и кивнула.

Ангел Ангелина...

— Куда же ты? Мэй, туда, туда надо! — Голос хозяйки обрезался хлопком двери.

С крыльца Макс попытался посчитать всех заполнивших двор: ну-ну, его поджидало уже не меньше двадцати, да кое-кто и с кольями. Значит, насмерть? Какие же вы все-таки тупые, какие же вы прозрачные: вот это-то ему сейчас больше всего и нужно!

И ничего другого! Макс медленно, словно проверяя прочность каждой ступеньки, спускался во двор, мучительно соображая — а вдруг он плохо вытер глаза? Вдруг эти болваны увидят слезы?

Ну-с, кто начнёт? Где он, этот добрый, всепрощающий дембель? Неужто пришёл к невесте без надраенных за месяц заранее лычек из консервной банки? Без офицерских сапог в гармошку и аксельбантов из бельевой веревки? Ну? Где же он? Где?.. Да у них тут, похоже, не только плакальщицы, но и бойцы за семейное счастье тоже все наёмные. Ничего сами не умеют. Ни порыдать, ни за честь постоять. Ни собственный храм отреставрировать. И этот петух гамбургский тоже из толпы не выйдет. Тогда кто первый? Да начинайте же, козлы, начинайте!.. Макс как мог неспешно входил в провокационно поддающийся круг: если влепят дубиной в спину, то можно и не успеть завалить хотя бы одного. Хотя бы одного. И тут кто-то вскрикнул, а толпа радостно подхватила: «Вий! Вий! Вия позвали!»

Перед Максом расступилась дорожка, и он увидел, как в ворота входил Вий. Невысокий, головастый, лет тридцати, из которых больше половины, наверное, проведено

в местах весьма отсюда отдаленных. Он был в голубой сетчатой безрукавной майке, или нет! — майка-то была серой, но через неё насквозь голубело и синело незагорающее после зоны тело: руки, грудь, шею сплошь покрывали переливающиеся в едином узоре наколки. Татуированные змеи и красавицы, кинжалы и сердца, кресты и карты, надписи, храмы и черти — живого места нет. Неужели такое можно выдержать? И сколько лет такое можно выдерживать?

Щербато оскалившись, Вий подбирался мелкими шажочками на присогнутых коленях, правую руку прятал за спиной. Макс выдохнул из диафрагмы и, приподняв расслабленные кулаки, тоже немного подсел: «на улице никакого бокса». Помним, Сан Саныч, помним.

— Ты, падла, чё кентов, в натуре, парафинишь? Чё, боксер, в натуре? — Вий издалека пугающе махнул лезвием. — А как я тя сейчас распишу! Пошинкую колесиками.

Синий треугольник ножа быстрым маятником мелькал на уровне груди. Макс, отклоняясь корпусом, осторожно уходил вправо, стараясь не слушать льющуюся феню. Заговорит — задавит. Тоже разновидность магии. Только глаза в глаза. Хотя трудно назвать глазами эти две бессмысленные матовые пуговицы над маленьким носиком и широким безгубым ртом.

— Ну чё, ссышь? Ну, боксер, на — бей! На! — Вий демонстративно спрятал руки за спину и подставил лицо. И даже закрыл глаза: опущенные веки тоже были зататуированы. Вий подставился ближе. «Они видят» — прочитал Макс синие буквы и со стоном согнулся от удара в пах. Опускаясь на колени, он услышал, как толпа вокруг радостно взывала. Второй удар пришелся рукоятью за ухо.

— Нет, сучонок, я тя мочить не стану. Я сейчас только тебе мошонку срежу. Как у твоей собаки. И зажарю.

Снова восторг публики. Лезвие кололо ямку над ключицей.

Ну, ладно: «на улице никакого бокса». Макс, левой ладонью отклоняя нож, снизу, выныривая из присяда, ударил Вию в зубы головой, и лёгонькое, сплошь татуированное тельце неожиданно далеко легло в глубоком нокауте. А в ворота уже вбегали дядя Костя, Владимир Васильевич, два мента и еще какие-то мужики.

Отец Александр прислал своего племянника уже ночью. Обещанную машину все дожидались сидя за ритуальным чаем на веранде. Вещи Макса стояли у входа. Четыре часа, через ничего не значащий разговор, напряженно вслушивались в звуки с улицы. Дядя Костя иногда пытался что-то внушать со ссылками на великих, но мудрая Марго скоро сводила его глобальности к бытовым мелочам. А нахохлившийся Васильевич даже не притрагивался к «альпинисту».

Днём, пока шли «взрослые» разборки, Макс похоронил Вахтера за дорогой у кладбищенской ограды. А разбирались и торговались долго, то в ментовке, то здесь, при храме. И чего хрипели? Ведь Макс и не собирался ни с кем судиться. Но и этот Вий ведь тоже теперь так просто не отстанет. Все как в детской книжке: «садить не надо, но и помиловать невозможно». Бедные милицейские фуражки пропотели насквозь. Рецидивист? Да. Холодное оружие? Но из свидетелей никто никакого ножа не видел. Мало ли где ладонь разрезал! К тому же и драку-то начал гражданин Михель! Набросился на людей без каких-либо объяснений.

Максу было плевать. Он больше заботился тем, что положить Вахтеру на могилу. Удачно подвернулся большой обломок плиты ракушечника.

Тимофтий Романович мелкими шажочками подошёл к холмику, постоял за спиной, повздыхал. Потом, взяв лопату, аккуратно обстучал ее, вытер о сухую траву.

— Максим, ты бы, это, мэй, уехал сегодня же.

Далёкое вечернее солнце блеклым желтым пятнышком плющилося в холодно-розовых перьях облаков. Потерявшая листву лесополоса штрихами жженой сиены рассекла обдуваемый ровным северным ветром светло-охристый холм.

— Этот дурак дружков своих соберёт, в храме напакостят.

Осень высвободила красные и коричневые черепичные крыши, зачернила вскопанные огороды. Во многих дворах жгли сухие стебли, и горьковатые сизые дымки, не в силах подняться, там и сям низко стелились по склону.

— А она все равно с тобой не сможет, мэй. Разные народы.

Тимофтий Романович закинул лопату на плечо. Прищурясь, долго смотрел вниз, на раслётшийся кривой сеткой улиц трехтысячный Кровохлёб. Его родной Кровохлёб.

— И меня прости.

У Макса вдруг загорелись щёки: простить? За что? За то, что его не полюбили?..

А! — за то, что — здесь! — не полюбили...

Низко просевший «жигуленок», в котором племянник отца Александра взялся довезти Макса до Одессы, был плотно набит мешками с грецкими орехами. «Там сдам на продажу, — молодой, но какой-то уже измученно желчный, не особо разговорчивый хозяин разгребал лишнее под передним сиденьем, — потерпи, будет как в подводной лодке». Вокруг переминались и что-то говорили покидаемые, а губы Макса кривило чувство вины. Какой вины? За что? Всё нормально. Логично. И, главное, всё правильно. Всё по правилам.

Вот, место готово, пора в путь. Немного покапризничав, движок прихватился, фары далеко выхватили уходящую вниз мостовую. А как всё-таки заканчивалась та песенка про часы? Стоп-стоп: «не улыбаться и губы бантиком не делать». По очереди похлопывали по плечу, крепко и долго жали пальцы дядя Костя и Владимир Васильевич. И Маргарита Бахытовна тоже, было, протянулась блестящими перстнями, но вдруг, пригнув за шею, поцеловала в лоб:

— До встречи, Максим, до встречи.

* * *

...Эх, че-рез две... через две зимы-ы...

Че-рез две... эх, через две весны-ы-ы...

Май в Сибири и май в Молдавии восемьдесят второго года различались ровно настолько же, насколько они были не схожи и десять тысяч лет назад. Да, наверно, и через десять тысяч будущего в Пашинском военном городке под Новосибирском в конце мая грязь будет столь же непролазной, а в голом березовом лесу, по северным склонам бурых под прошлогодней листвой лощин, продолжают пронзительно белеть острова никак не тающего снега. В то время, в Кишиневе на смену каштанам зацветут акации.

Кубовое, приземисто широкое и, в своей абсолютной чистоте, уютное двухэтажное здание аэропорта через полчаса опустело. Попутчики растаяли как-то незаметно и непонятно на чём. Макс вышел на площадь. Ночь тёплая, липко влажная, без какого-либо малейшего ветерка. И сложнейший букет из густых запахов повсеместного цветения! В углу, под крайним фонарем стояло около десятка разноцветных машин, однако такси было только пара. Шофера плотно сошлись в кружок у одной из легковушек и шумно обсуждали преимущества «шестерки» перед «восьмеркой». Но, конечно же, в этом повышенной страстности чувствовалась фальшь: единственного «клиента» просто обрабатывали, давали «дозреть». Макс отвлек самого пожилого:

— Может, довезете? Червонец!

Ровный асфальт шоссе легко гнулся с холма на холм, мелькая под фары белым пунктиром разделения полос. Увеличенные светом редкие ночные бабочки астероидами летели навстречу, а вокруг только чёрный контур невысоких, пологих гор, да неожиданные, на поворотах, высоченные шпили пирамидальных тополей резали низкое

густо-синее рябое небо, чуть подсвеченное справа едва угадываемой за облаками луной. Чёрные холмы, чёрные горки. А днём-то здесь как красиво.

Вознесённый стакан КПП издали светился праздничным китайским фонариком. Сбросив скорость, подкатили к разъезду, остановились под светофором. К ним лениво подошёл, весь увешанный белыми светоотражающими портупелями, дежурный. Красиво, с оттяжкой, козырнул, заглянул в салон:

— Куда?

— В Кровохлёб, в бисерику.

Макс только занёс руку, как из-за ворот зло залился мелкий подвывающий лай. А это что там за шавка? После Вахтера взяли? От внезапной прихлынувшей обиды его стук в ворота прозвучал по-бетховенски судьбоносно: «Та-та-та, да»!

А с той стороны словно только этого и ждали. Он жадно вслушивался в приближающиеся шаги и голоса, но никак не узнавал: кто? Марго! А ещё? В приоткрытые ворота разом выглянуло две головы. Одна — чёрненькая, во все так же ярко блестящих очках, а вторая — белая, точнее почти полностью лысая, в очках с дымными стеклами. Невидимая собачонка, разочарованно ворча и подвянгивая, предпочла не выказываться.

— Младший сержант запаса Михель прибыл в ваше распоряжение!

— Макс!! Вернулся! — Маргарита Бахытовна как девчонка порывисто обняла его за шею и расцеловала в обе щеки.

— Здравствуйте. — Мужчины испытующе осторожно, но крепко пожали руки.

— Это мой муж, Вениамин Борисович.

— Максим.

— Вениамин Борисович.

Лысый пятидесятилетний толстячок подхватил убитый за дорогу дембельский чемоданчик и широким хозяйским жестом пригласил на вход.

— Макс, ну как же ты возмужал, как заматерел! — Марго держала его под руку и улыбалась во все свои тридцать два зуба. Он тоже не мог закрыть расплывающийся к ушам рот, жадно обегая глазами знакомые приметы: старую акацию над фонарем, высокое крыльцо храма с надвратной иконой Спасителя за треснувшим стеклом, два памятных распятия на взгорье, домик священника, а в противоположном углу — заветную веранду. Всё на местах. Как же это здорово! Только вместо гравия двор теперь покрывал бетон.

— Почему так радостно говорят «заматерел»? — пытался встроиться Вениамин Борисович. — В отношении взрослеющих девушек никто же не употребляет комплимент «возмужала»?

Но разговор вела Маргарита Бахытовна, и так ловко, что Макс, вначале жавшемуся, с каждой минутой становилось легче, спокойнее. Прежде всего, она не позволяла ни себе, ни мужу задавать вопросы. Разве что самые невинные: об армии, о дороге. И много говорила сама. О том, что Константин Павлович сейчас на открытии нового объекта в Арзамасе, а вот Владимир Васильевич откололся окончательно — Наум его возвел в бригадиры и определил на самостоятельные работы. Где-то возле Красноярска, Ачинск, что ли. Тимофтий Романович болеет, радикулит скрутил, а отец Александр тоже со дня на день ждет назначения в Орхей. С одной стороны, это повышение, все-таки самостоятельный город, а с другой — отдаление от столицы. Да, там ещё римские каменоломни. Кстати, а не там ли Орфей спускался в ад? Орхей — Орфей... Так что из старожиллов здесь только они с Максом теперь и остались.

— Ты ешь, ешь! Тебе надо. И, вообще, мы на тебя очень надеемся. Отдохнешь, отгуляешь, как раз и Константин вернется. Будем здесь сворачиваться, сезона хватит, а Арзамас потихоньку раскручивать. Там огромный объём.

И Макс ел. Как же он соскучился по надоевшим в свое время фаршированным перцам! Вениамин Борисович принес литровую банку вина. Кисловатое, но — полагается:

— С возвращением.

— Со свиданием.

Что ж рассказать-то? Служба последние полгода была, ну, скажем, просто королевской: охраняли законсервированную технику. Танки и ракетные тягачи. То есть молодые на посту, капитан в общаге, а деды... «Простите, Маргарита Бахытовна, я к нормативной лексике заново привыкаю». Дорога, конечно, утомила. Поездами с двумя пересадками. Но ещё больше устал от обязательного дембельского питья. Смешно, раньше он и не догадывался, что можно устать пить. Что дальше думает?.. И возмужавше-заматеревший Макс наконец сам, по собственной доброй воле, пожаловался:

— Мать замуж вышла. Братан в мореходке. Вот и решил сначала к вам. Нет, конечно, раз дяди Кости нет, то я завтра-послезавтра же в Ильичевск. Побуду немного дома, осмотрюсь, пообщаюсь с новым папой. А потом, если вы не против, вернусь сюда.

Спать его уложили тут же, на кожаном диване. Он лежал поверх нежного, атласно-стеганого одеяла не раздевшись и смотрел, как за сошедшимися на угол окнами веранды столбовой синюшный фонарь вымывает из темноты сиреневую в его помаргивании стену храма с розоватым обводным бордюром, до мельчайших подробностей вычерчивает растопыренные полуголые ветви старой акации на фоне плотной молодости клёнов. Было, не было этих двух с половиной лет? Словно стоп-кадр из прошлого. И — чу! — соловей? Точно — там, в сирени, защелкал, засвистал, разбойник. Боже, неужели это правда? Веранда, диван, стол, полки с книгами и инструментами? Сколько же и как он боялся, что за эти прожитые неизвестно где семьсот тридцать девять дней всё в нормально-человечьем, цивилизованном мире если не исчезнет вовсе, то, по крайней мере, потеряет свое самое главное — то, о чём больше всего тосковалось в неизбежном, круглосуточном, плотном общежитии, — потеряет смысл его, Максовой необходимости. Смысл его личности, ради которой, в общем-то, весь этот мир для него и существует. Пока ещё существует, так как советская армия — это уже наступающая бессмыслица. Для солдат, прапоров, младших офицеров — уж точно... А сколько таких бессмыслиц еще есть в эсэсэсэре, о которых Макс даже и не догадывается? Зон, систем, сообществ, объединений, не дающих ни человеку, ни государству ничего. Просто ни-че-го.

И какая молодец Марго! Ни полслова о том, о чём нельзя... А мужик у неё забавный. И лысина блестит, как смазанная. На вид они совершенно друг к другу не подходят. Или наоборот — дополняются? Через полярные качества. Хотя нет, есть общее: они оба в очках... А как, вообще люди «подходят»? По каким таким признакам?.. Ум? Образование? Красота?.. В этот год они с парнями, конечно, побегали в общагу местного патронного завода. Как бегали до них другие призывы. И бегают следующие. Для этого, наверное, женская общага и была построена в пределах колючки. Два забора — и «...и была б среди них одна...» Была-была! И одна, и другая. Но! Но ни первый, ни второй романы именно как романы-то и не сложились. Побалдели, попритирались. Поплакали. Нет, все это было совершенно не то... Что же помешало — образование? Мол, слишком простые девчонки из дальних сибирских деревень, заманенные в город кино и асфальтом, а потом, после ПТУ — институт ли с их-то школой? — заброшенные в зону обороны... Али красота? Но, пардон, о какой там красоте можно рассуждать под давлением гормонов? А тем паче, если меж круглых щечек и подвитых на носик-курносик человек круто намалеван грим «женщины-вамп». Свет нужно гасить сразу... И самое-самое: все его натужно веселые «ходилки» и скороспешные «свиданки» ни разу не вылились в разговор по душам. То есть всё происходило и обходилось вполне без ду-ши. Вот то-то и оно.

По душам был Павка. Смешно, но Корчагин. Они познакомились еще в учебке, сошлись с полуслова и потом все время старались держаться в поле зрения. Павка был из Подмосковья, из Филина, что по ярославской трассе. Сын школьной учительницы, из-за четверти балла не прошедший конкурс в «мед», он всех окружающих приводил в ужас своим правдоискательством. Ни мат, ни похлебальники не могли заткнуть его искреннее «а

почему?». Максу пришлось встывать за него чуть ли не с первого же дня — малый был вроде и не дохляк, но какой-то недотепа. Это уже потом, когда понемногу все попритерлись, павкино «а почему» стало просто предметом шуток. Разной толщины...

Если бы не чокнутое правдоискательство, Павка явно бы «пришёлся ко штабу», халявил бы писарьком: он не просто писал грамотно, но потрясающе знал поэзию, замечательно объяснял и показывал Зодиак, в дежурке мог, не хуже Сенкевича, часами увлекательно рассказывать про страны, в которых никогда не бывал. В конце концов, его даже полюбили. Но за семь месяцев до приказа он вдруг подал рапорт в Афганистан. У Макса голова квадратная стала — за каким?!

— Понимаешь, — рядовой Корчагин, горбясь у самой лампы, тыкал нитку в игольное ушко, пришивая пуговку, — я же жизнь живу. Скоро двадцать. И что? И, главное, зачем? Что у меня, кроме моего Филина, было, есть и будет? Это вот Пашино? Вернусь — и как быть? Идти на ферму? Раз в институт не поступил. Или лимитой Москву штукатурить? Пошло, не грустно, а именно пошло так растрачиваться. Я ведь в детстве до тоски старшим завидовал, когда они уезжали на БАМ. Понимаешь, мне дела хочется. Настоящего, большого дела, чтоб за спиной что-то было.

Ну-ну, «чтобы не было мучительно больно». Нет, Макс не понимал.

— Я же в семье один «мужская половина»: мама и две бабушки. Ну и что я дома? Это я без них не мог, а они-то без меня спокойно со всем справлялись. Понимаешь, мне надо что-то такое тяжелое, может даже непосильное попытаться поднять, принять на плечи, чтобы себя ощутить, познать свои возможности. Мужчина, он только под тяжестью ответственности — за друзей, за Родину, за все человечество, мужчиной становится, а за гранью этого так мальчиком и прозябает.

Нет, Макс не понимал, не чувствовал и не хотел познавать — где проходит граница дружеской, мужской, гражданской и всечеловеческой ответственности — когда до дембеля оставалось чуть более полугода!

— Так я ж никого за собой и не блатую. Каждому своё. Земля большая, каждому белых пятен хватит.

И вот Павки нет в живых. Они писали письмо его матери, расхваливали Павла как отличника боевой и политической подготовки, верного товарища и настоящего комсомольца. Наверное, их письмо теперь хранится в школьном музее.

И осталось непонятым: какая же это была на филинском маменькином сынке ответственность за афганских бородачей, заложивших на его пути фугас?

И соловьи в Сибири не поют. Только малиновки.

Утро начинается с умывания. У крана он познакомился с коротконогой блестяще-чёрной собачонкой, которая так изводилась вчера ночью по поводу его прибытия. Собачка, униженно виляя задом, подошла поближе, выжидающе присела и, лишь удостоверившись в том, что Макс не хранит обиды, приткнулась носом в ботинок.

— Ну, давай знакомиться. Ты кто?

— Шатра. Её Шатрой зовут.

Вениамин Борисович, очень уж приветливо улыбаясь, нёс за алтарь на плече целый ворох свежераспушенных двухметровых брусков.

— Вы, Максим, после завтрака мне немного поможете?

— Да хоть сейчас!

— Нет, дело неспорое, на несколько часов. Так что завтракайте не торопясь. Марго покормит, а я пока всё заготовлю. Рычагов под прессы наделаем.

Утро продолжилось шипением глазастой яичницы, запахом батонных бутербродов с «одесской» полукопченой и беседой за кофепитием.

— Я все смотрю на храм, смотрю, и — не то. В чём подвох?

— А это в прошлом году колокольню нарастили. Раньше же шатер временный, после землетрясения, стоял, а сейчас опять по проекту подняли.

— И всё?

— Двор, дорожки забетонированы.

— И всё?

— Макс, это у вас, наверное, что-то внутреннее. Новая точка зрения.

— М-м-м. Согласен.

Пауза вежливости, с одной стороны, страха — с другой. «Та самая» тема так и зыбилась, свиваясь, уплотняясь над столом до уже различимых, уже узнаваемых теней из задымленного ароматизированной сигаретой Марго воздуха. Вот-вот окончательно воплотится в эти никак не минуемые и, ох, какие страшные для Макса слова. Он старался избегать глаз собеседницы. Пусть пощадит, хотя б ещё минуточку!

— Гм, бон апети! А мне чашечку нальют? — Упорно улыбающийся из-под своих тонированных очков Вениамин Борисович потоптался на пороге, нерешительно шагнул к столу. Макс, улыбнувшись не менее доброжелательно, подвинулся:

— А почему вы собачку «цыганкой» назвали?

— Шатру? Так это местные — ворует. Ворует, мерзавка, каждый день: то косточку где-то стащит, то рыбку. Иной раз и просто тряпочку свистнет. У неё не будка, а склад — она, пожалуй, позапасливей Тимофтия.

— Клептомания и у животных случается. Её уже и били не раз, и даже стреляли — нет, неймется! — Марго налила мужу кипятка, придвинула растворимый кофе.

— Я предлагал кличку сменить, — Вениамин Борисович тихонько царапал доньшко ложкой, — это бы помогло. Seriously! Имя же — страшная сила! Я когда только узнаю чьи-то имя-отчество-фамилию, то сразу уже могу достаточно смело описать характер человека, даже не видев его. Это посильнее гороскопа. Например: Александры — они прямые, твёрдые, но могут легко сломаться, как перекаленная сталь, Алексеи — наоборот, склонны к компромиссам, если и конфликтуют, то от пережима, то есть не принципом, а взрывом. А вот Владимир — все естественные диктаторы. Поэтому мой совет: Максим, никогда не женитесь на Ольгах. Только на Маргаритах. Никакой мистики! Тут весь секрет в каждодневном многократном посыле определенной информации от окружающих в сторону называемого. Этот стабильный посыл и формирует определенные черты характера. Скажи человеку сто раз «свинья», он и захрюкает. А вот покличь «орлом»! Заклекочет!

— Спасибо, учту. Так что, если Шатру назвать Ласточкой, то она через полгода, же или, там, через год станет ласково щебетать? А может, и порхать начнёт?

— Да. Охотиться на мух. Проверим? Даже пары месяцев хватит. Именно от смены кличек подобранные на улице животные совершенно спокойно вживаются в новый человеческий коллектив. А если собаку или кошку передают вместе со старым именем, то у них с новыми хозяевами неизбежны конфликты.

Упоры для прессов напоминали складные стрелы экскаваторов. Дело в том, что из-за дырявой крыши промытые под живописью в стенах рукава пустот и расходящиеся по той же причине расслоения штукатурки заполнялись и проклеивались известковым раствором — «молочком». Тем самым, на производство которого у Макса ушло лучшее время его юности. В отслеженных промывах высверливались дырочки, и в них с помощью большой клизмы заливался раствор. Отверстия затем затыкались, и, дабы неравномерно размокающая штукатурка не отвалилась или не деформировала свою поверхность, к проклеиваемому месту приставлялся пресс: поджигающий клеемый участок часто перфорированный лист метр на метр ДСП на стене фиксировался упором, нижний член которого под углом упирался в пол, а на верхнее плечо подвешивался выверенный груз.

Видя, что все время уплывающий в своё Макс и не собирается включаться в вычисление силы давления на стену, Вениамин Борисович сам распределял мешочки с

песком на разных отстояниях. Они работали с последней, западной стеной, на которой сверху вниз, прерываемая хорovým балконом, разворачивалась сложнейшая повествовательная композиция Страшного суда и воскрешения мертвых. Наверху, под сводом, прекрасно сохранился весь фрагмент собственно Суда, с сидящим на троне Христом, с предстоящими Ему Иоанном Крестителем и Богородицей, с двадцатью четырьмя старцами. Лёгкие облака в ряблящих переливах голубого и розового идеально передавали нежнейшую перспективу, заставляя фигуры слегка «плаваться», вибрировать, как при смотреии через огонь. Стоящий ниже на стеклянном море ангел уже сильно пострадал от грибка и шелушения. Потерял полкрыла и второй ангел с вознесенным с семьюпечатным свитком. Ещё ниже разворачивалась панорама воскрешения мертвых с шествием праведников в рай и низвержением грешников в пасть дракона.

...скорбящий ангел-хранитель, не удержавший доверенную ему душу от грехопадения, ударил Макса из-под черных, на прямой пробор, волос такой знакомой болью огромных глаз... Ангел, ангел... Почему ты не удержал?..

Установив пятнадцать прессов, они вышли в уже подступающий с востока вечер совершенно измученными, перемазанными известкой и олифой, с мокрыми до плеч рукавами. Скинув халаты и рубашки, долго и тщательно отмывались, втирали в разъедаемые руки вазелиновое масло. Хорошо! Солнце красным пузырем раздувалось над дальней, голубовато-лиловой горой, а вокруг него сыреющий с каждой минутой воздух радужно переливался от золотого к зеленовато-бирюзовому.

— Хорошо в Молдавии летом. Но вот я пару раз зимой приезжал, и, надо признаться, очень мне не понравилось. — Вениамин Борисович старательно промакивал густо-волосатую грудь большим полосатым полотенцем. — Больше всего эта сырость достаёт. Что это за зима, когда то минус пять, то плюс? И туман круглые сутки: утром вроде поднимется, а к вечеру снова опустится. Ветра нет, а если и прорвется, так опять же с моря! С новым туманом. Всё сырое! Только то, что на тебе надето, немного за день просыхает. А что снял, на стул повесил — утром нужно утюгом сушить. И с дровами проблема. В Молдавии же не леса — сады. Тут с каждого дерева плоды снимают. Поэтому топят привозным, что на вес золота — по три рубля охапка. И ещё, понимаешь, забавно: в округе ни в одной печи заслонка нет. Что горит, то сразу в трубу летит. Почему? Я тоже спрашивал. Ответ был серьёзным: «а мы угораем!» Мол, у одних заслонка была, так они померли. То есть, одни от жадности раньше времени закрыли и угорели, а все остальные теперь самокритично боятся — сознают же свой национальный характер. Нет, зимы здесь мерзкие. Молдаване вместо отопления круглые сутки «извар» пьют. Знаешь? Вино с кипятком. И к весне у всех носы как перчики.

Вениамин Борисович никак не мог расшевелить Макса и от этого слегка уже сам явно заводился. Менял темы, ритм, тормозил вопросами и, не дожидаясь ответа, отвечал сам. Но улыбку держал.

— А вот, поверишь, я тут нынешней зимой ведьму повстречал? Рождественским постом. Было как обычно: ни тепла, ни холода. И вдруг к вечеру задуло, задуло, похолодало, и начался такой снегопад — ну просто жуть. За два-три часа с полметра, а то и более высыпало. Я по двору со скребком бегал, с крыш сугробы скидывал. А то, думаю, к утру потеплеет, снег влаги наберет и продавит наши сарайчики. Вот бегал, бегал, задохся, как Сизиф, и вышел в задние ворота к кладбищу покурить. Там темно, но как-то темно по-странному, как во время снегопада и бывает: метрах в пяти ничего не видно, а рядом всё ясно. И вдруг в эту ясность входит старушонка. Горбатая, с клюкой, вся с ног до головы в чёрном. Так у нас в школе химичка одевалась. И настолько бабка неожиданно вышла, что я, как ребенок, сигарету в кулак спрятал и отчего-то заёрничал: «Здрасьте!» Она эдак повернулась всем телом, взглянула, ну, насквозь пронзила, и серьезно отвечает: «Бунэ сярэ!» И ушла. То есть вышла из пурги и опять в пургу. Я докурил, хотел было вернуться,

но чего-то занервничал. И, ни с того ни с сего, пошёл за ней вслед. По следу, в прямом смысле. Прошёл метров двадцать, как вдруг эти её следы оборвались. Что такое? Я туда, сюда — нет нигде, как обрезало. Ни впереди, ни сбоку. Чётко так левой ногой последний раз отпечаталась, и всё... Я назад: а откуда она, думаю? Пробежал по дороге почти до фермы, но там уже совсем всё замело. Вернулся — и здесь заносит. Куда же бабка делась? Главное, что в сознании двоится, словно я о чём-то таком или где читал, или от кого слышал. То есть словно мне это уже знакомо... Потом Марго мне рассказала, что это тут старая цыганка живёт, чудесами промышляет. Веришь?

— Он её знает. — Восточно-сдержанная царевна Марго впервые за всё время проявила публичную нежность, прижавшись к спине мужа.

— Да, знаю. Я много про неё знаю. И она про меня. — Макс так испуганно взглянул на них, что Вениамин Борисович поспешил вернуться к своей никчемушной улыбке:

— А она знает, что ты знаешь, что она знает?

Они, мирно и неспешно беседуя на тему валентности в отношениях меж личностью и коллективом, поужинали, потом так же тягуче попили чай, обстоятельно обсуждая подробности завтрашних маковых сборов и послеполуденного отъезда на родину. К маме. И «папе». Потом пожелали друг другу спокойной ночи и приятных сновидений.

И уже с порога женская скороговорка:

— А свадьбы не было. Она сейчас где-то в Кишинёве живет.

Макс лежал поверх одеяла и смотрел, как за сошедшимися углом окнами веранды столбовой фонарь описывает сиреневую стену храма с розоватым бордюром и до мельчайших подробностей вычерчивает полуголые ветви старой акации на фоне неразлично плотной молодости клёнов. Макс лежал и ждал соловья.

Он, наверное, все-таки придремал и не сразу увязал видение истекающих из засек соком стволов бело-чёрных берёзок и сладко-страстные переливы южных звуков. Какие берёзы? Это всё там, теперь там — в прошлом! Как хорошо, что в прошлом. Это — в прошлом. А здесь и сейчас... Привычно с закрытыми глазами завязал шнурки ботинок, так же вслепую натянул гимнастёрку. Дверь отвратительно громко скрипнула, но соловей продолжал. Осторожно пройдя вдоль стены храма, немного постоял у алтарной апсиды: мгла была прозрачна, звёздна, только справа над округлой вершиной горы быстро плывущие мелкие облачка чернильными брызгами перекрывали тоненький серпик недавно народившегося месяца.

Соловей пел во дворе, метрах в десяти, в беспросветных сиреневых зарослях. Но совсем недалеко из-за забора ему отвечал второй. И где-то за кладбищем подхватывал переключку третий. Тот, дальний, наверно уже из оврага. Свой, церковный, чуть излишне выщелкивал. У второго трель вообще короткая. А дальний... Ммм... Вот, три птахи — и три совершенно различные песни. Личности. Неповторимые. Ммм... И как же он наскучался по этому сладкому зову!..

Столкнув засов, Макс плечом отжал тяжелую заалтарную калитку и вышел на дорогу. Ну, здравствуй, ночь! За спиной светлая штукатуренная стена отрезала островок защищенности и покоя, а впереди широким веером косогора распахивались чудеса. Первым чудом была радуга звезд. То ли из-за ещё неостывшей влажности, то ли из-за чего другого, но чуть помаргивающие и играющие над Максом бесчисленные астероиды и кометы, спутники и планеты, солнца и системы, галактики и туманности равномерно переливались от зеленовато-голубого горизонта к розовато-фиолетовому зениту. Второе чудо — густейший аромат акаций, в котором буквально вязли златоглазые москиты. Они почти без движений висели в этом аромате и никак не поспедали даже за медленно бредущим Максом. Третье — дорога. Та самая, что за вершиной холма отлого спустится к ферме, затем, виляя между вздыбленными полями, мимо геодезической пирамиды

досерпантинит до свалки. Дорога, обычная асфальтовая дорога, серовато-пупырчатая, с грязными, заросшими мелкими ромашками и хвощами обочинами, слегка светилась. Тонкая-тонкая полоска едва собирающегося тумана плыла по ней и еле заметно флуоресцировала. И Макс пошagal по текущему навстречу свету.

По щиколотку в разряженном фосфоре, он прошёл мимо навеки распахнутых кладбищенских ворот — холмик над могилкой Вахтера совсем расползся, надо бы подправить, мимо неизвестно для чего сначала построенного, потом полуразрушенного, заплетенного многолетними лианами дикого винограда кирпичного сарая с останками тракторной тележки.

Низенькая, из дикого камня, загородка кладбища под прямым углом отвернула от дороги налево, сходя вниз к далёким зарослям грецкого ореха по-над оврагом. Вдоль заворота ограды к орешнику вела глубоко протоптанная в мягкой глине тропинка. Почему Макс повернул? И зачем вообще он вышел? Чего ему здесь надобно? И от кого?.. Просто три такие разные песни...

Тропинка, оборвавшись обвязанным корнями слоистым склоном оврага, распалась и несколько рукавов и крутыми ступеньками спрыгивала к громко журчавшему на дне ручью. Весной-то ручей, оказывается, вполне мог бы даже считаться речкой — метра три в ширину. У берега тропинка опять собиралась и двигалась по течению. Соловей пел на другом склоне оврага. Может, где-то и был мостик, но искать его в темноте? Ладно, и отсюда хорошо слышно...

Над водой плотно сталкивались гнутыми ветвями ивы, из-под них дурно пахло распахнувшимся веерами папоротником. Соловей пел через ручей, прямо напротив. И как пел! Макс замер над играющим звездной радугой мелководным отражением, изо всех сил сжимая виски кулаками. Неужели всё? Неужели он действительно вернулся? Боже, Боже! И теперь уже никто никогда не вправе просчитывать, регламентировать и предписывать нормативы его, его, его — Максовой жизни?! Теперь он сам может всё. Всё, что только взбредёт ему в голову: он может чудить или мудрствовать, может вставать посреди ночи или ложиться после обеда, может читать, писать, смеяться и депрессировать — и ни на кого не оглядываться. Он может надевать фуражку козырьком на затылок, а может... забросить её на тот берег. Он — свободен! Всё, всё, всё, он теперь свободен!

...Присев на вытопанную в глине ступеньку, Макс понемногу приходил в себя. В самого себя. И невнятно-сумрачный мир, из которого он так трудно, так тягуче выявлялся в собственное, своё только собственное существование, отделялся и отдалялся, вновь обретая звуки, запахи, формы и фактуры, не принадлежащие ни его сидящему здесь обмякшему телу, ни вибрирующему от перенапряжения сознанию. Всё. Он теперь уже ничья не часть. Где они: устав, внутренний распорядок, материальная часть, КПП, плац, ранжир и?.. Всё. Теперь этого никогда не будет. Ни-ко-гда. А будет ...? Что, свобода — это ничего никогда? Свобода — это когда ты сам по себе и ни за что не в ответе? Ни за кого?..

Совсем-совсем рядом крохотная серенькая пичужка распирала настоявшуюся звёздами и туманами ночь миллионнолетней песней любви. Совсем крохотная, совсем невзрачная. Точно такая же, как все из её отряда воробьиных и вида ... мухоловок. Такая же? Да нет, нет! — ведь именно этой вот своей любовью, эта вот конкретная птичка так не похожа на других — серых же и невзрачных соседей и собратьев. Ибо эта песня — сейчас и здесь! — звучала только для одной-единственной самочки, где-то поблизости её слушавшей. Неповторимой, так как, полуприкрыв прозрачными веками глазки, она осторожно согревала будущих птенцов... Единственная, она слушала только его песню. И грела — его — птенцов...

Макс понемногу приходил в себя... в самого себя. Теперь для него всё менялось, ибо всё менялось в нём самом. Менялось стремительно и принципиально, и он вдруг ясно-ясно понял: да свобода — это же доброволье! В своей доброй воле человек не подчинён

никому, лишь в добровольии человек свободен, свободен ... ответственностью. Ответственностью за то, к чему он прикасался, за то, что увидел, познал и создал — за всё то, что полюбил. Что человек полюбил! А отвечать за нелюбимое — эх, Павка, Павка, добровольно умирать можно — и нужно! — за родное, за самое-самое: за маму, за Филино или за Пашино, за этот вот Кровохлеб, в конце концов. Но никак не за Джелалабад. Умирать стоит за то, чем живешь!

Соловей замолчал. Короткая последняя полутрель, и тишина. Неужели утро?

Смешно, но Макс никак не мог выкарабкаться. Навстречу с поля, прямо через край обильно сливался сероватый туман, быстро заполняя овраг липким холодом, а ему никак не хватало сил вытолкнуться наверх. Пачкаться не хотелось, но ноги стали ватными, ботинки всё больше залеплялись глиной и скользили. Так что всё равно, в конце концов, пришлось переваливаться на брюхе. А тут-то какое молоко! Только в двух шагах справа мутно темнела кладбищенская ограда. Остальное — сверху, снизу и справа — одинаково бело. Макс пару раз споткнулся о невесть ещё что и с удовольствием поднял длинную тяжелую палку. Недавно кем-то срубленный и ошкуренный ивовый ствол удобно лежал в руке и внимательно ощупывал дорогу. Вот где-то рядом должна уже быть и шоссейка. Стена отвернула, и Макс совсем уже мелкинькими шажочками двинулся на запах акаций.

И всё же упал.

Грудью ткнулся в совсем некрутой, мягкий бугорок, но он узнал лежащий чуть с краю продолговатый, обрубленный с боков, большой булыжник: «Прости, Вахтер, прости».

Собаки не умеют обижаться надолго, и за эти два с половиной года Вахтер наверняка уже простил его за то, что был убит как «собака русского». Макс постоял на коленях, ладонями лоя тепло единственного здесь клочка навсегда теперь родной земли: «Прости меня, Вахтер».

От горы подуло, уплотняя и отжимая туман к земле. Макс встал, почти по пояс вынырнув из взлохмаченной белизны. От востока размашистый, в полгоризонта, рассвет уже подтягивался к поредевшим, поблекшим звездочкам. Белый, в окружении почти чёрных крон, корабль храма гордо реял наконечником колокольного креста. Корабль наплывал от восхода, и свет подступающего к закраине земли неминуемого солнца ровной силой наполнял почти видимые паруса. Корабль спасения... сохранения.

По ещё покрытому оседающим туманом Кровохлебу издалека, перекликаясь снизу вверх, разноголосо запели петухи.

Макс не услышал, а почувствовал за спиной чье-то шевеление. Уже в повороте он занес тяжёлую палку для удара: в паре метров на кладбищенской стене, присев-пригнувшись, расправляла крылья для взлета сова. Жёлто-зелёные огоньки бессмысленно злых глаз, приоткрытый острый, опушенный бородкой клюв с торчащим язычком. Мелкая рябь окончаний рыхлого оперения. А под длинными кривыми когтями запрокинулось окровавленной головкой крохотное разорванное серенькое тельце. Соловей?!

Удар пришелся в грудь, под уже распахнутые крылья, — сова глухо забилась в судорогах под забором. На каменной кладке осталось только крохотное, прилипшее кровью соловьиное перышко.

— Эй, ты! Ты! Ну, что? Что, ведьма, «зря ты его туда везешь»? Зря?! Ну, покажись! Покажись, со следами или без, на метле или сквозь двери... И Вия я твоего тоже забил. И эту. Нет, ты боишься: петухи поют. А я даже не из-за этого, я просто тебя не боюсь. И... плевал я на твои заклатья.

Петухи пели совсем рядом.

На Кишинёвском вокзале Макс выстоял самую обычную гражданскую очередь за билетом до Раздельной, чтобы оттуда на дизеле к утру добраться до Одессы. И чего народ такой нервный? Стояли бы и стояли. Ну, душно, ну, подвыпившие мужички кассиру пытаются права покачать. Да все это, по сравнению с мировой революцией... Клетчатая

румынская рубашка с короткими рукавами, джинсы-дудочки с висячими замочками на карманах, остроносые туфли в два цвета — Марго с мужем с утра чуть ли не силой затащили его в КООП и переодели прямо там же, в камере у знакомой завмагом, «в счёт аванса». Отбатрачит! Форму отняли в заклад, как спецовку на будущих работах. Чтоб патрули не дергали. В чемодане остались ритуальные дембельский альбом, фуражка и парадный ремень. Остальное — конфеты, вино, духи и иные подарки для матери и... отчима. Слово-то какое неловкое. Солнце слепило и прижигало. Гомон, автомобильный шум, легко, по-летнему одетые девушки... Немного кружилась голова от бессонной ночи и волнения перед встречей с домом. Но об этом молчок, даже для самого себя. Нужно просто наслаждаться этим солнцем, гамом, клаксонами и видом крепдешиновых платяиц.

И не дергать ладонь к виску при виде офицеров.

...Ангелина положила руки ему на плечи и уткнулась лбом в спину. Как она смогла подойти так незаметно? Он не поймал момента её приближения, хотя ждал, ждал, так ждал его весь день. До самой последней секунды, до объявления о посадке, до рези в сердце... Поток охваченных жаждой лучших мест пассажиров плотно отекал справа и слева по коридору, но никто, никто не посмел даже коснуться их. Лишь уроненный чемодан толчками уносился в направлении второй платформы и четвертого пути. Макс скрещенными через грудь руками прижимал к плечам её ладошки и, сам кусая кривящиеся губы, затаенно вчувствовался в расплывающееся на спине горячее пятно ангельских слёз.

— Ты почему хотел без меня?

Что можно ответить? Глупости.

— Так почему ты хотел уехать без меня?

Глупости. Наконец-то последняя, как на подбор толстенькая семья, подгоняемая вспотевшим молдаванином в блескучем, на резиночке, галстук, протопотала мимо них к перрону. Макс осторожно отнял руки и обернулся. Ангелина была коротко острижена.

— Смотри: твой чемодан совсем запинали. — Но он смотрел на неё. — А я... Ко мне во сне Вахтёр пришел. Схватил зубами за руку и тянет на вокзал. Вокзал незнакомый, пустой-пустой, и поезд какой-то странный. Но я проснулась и сразу поняла: одесский дизель от Раздельного. Только тут вот беда: я вещи-то собрала, а потом так разволновалась, что в автобусе сумку забыла. Ничего? Переживем?

— Переживем.

Он вытянул из нагрудного кармана два билета.

Ангел Ангелина... И зачем же так коротко стригутся черноволосые ангелы?..